Korolenko, Vladimir Galaktionovich

Чудная. Лѣсъ шумитъ. Огоньки.

Title transliterated: Chudnáya ...

Вл. Короленко

Чудная
Лѣсъ шумитъ
Огоньки

Berlin
Heinrich Caspari
Verlagsbuchhandlung



Вл. Короленко

Чудная
Лѣсъ шумитъ
Огоньки

Berlin
Heinrich Caspari
Verlagsbuchhandlung

Druck der Spamerschen Buchdruckerei in Leipzig

Чудная

Очеркъ изъ 80-хъ годовъ[1].

I.

— Скоро ли станція, ямщикъ?

— Не скоро еще, — до метели врядъ ли доѣхать, — вишь закуржавѣло какъ, сивера̀ идетъ.

Да, видно до метели не доѣхать. Къ вечеру становится все холоднѣе. Слышно, какъ снѣгъ подъ полозьями поскрипываетъ, зимній вѣтеръ, — сивера̀, — гудитъ въ темномъ бору, вѣтви елей протягиваются къ узкой, лѣсной дорогѣ и угрюмо качаются въ опускающемся сумракѣ ранняго вечера.

Холодно и неудобно. Кибитка узка, подъ бока давитъ, да еще не кстати шашки и револьверы провожатыхъ болтаются. Колокольчикъ выводитъ какую-то длинную, однообразную пѣсню, въ тонъ запѣвающей метели.

Къ счастію, — вотъ и одинокій огонекъ станціи на опушкѣ гудящаго бора.

Мои провожатые, два жандарма, бряцая цѣлымъ арсеналомъ вооруженія, стряхиваютъ снѣгъ въ жарко

---

[1]) Въ «Русскомъ Богатствѣ» было напечатано подъ заглавіемъ «Командировка».

натопленной, темной, закопченой избѣ. Бѣдно и непривѣтно. Хозяйка укрѣпляетъ въ свѣтильнѣ дымящую лучину.

— Нѣтъ ли чего поѣсть у тебя, хозяйка?

— Ничего нѣтъ-то у насъ . . .

— А рыбы? Рѣка тутъ у васъ недалече.

— Была рыба, да выдра всю позобала.

— Ну, картошки . . .

— И-и, батюшки! Померзла картошка-то у насъ нонѣ, вся померзла.

Дѣлать нечего, — самоваръ къ удивленію нашелся. Погрѣлись чаемъ, хлѣба и луковицъ принесла хозяйка въ лукошкѣ. А вьюга на дворѣ разыгрывалась, мелкимъ снѣгомъ въ окна сыпало, и по временамъ даже свѣтъ лучины вздрагивалъ и колебался.

— Нельзя вамъ ѣхать-то будетъ, — ночуйте! — говоритъ старуха.

— Что жъ, — ночуемъ. Вамъ вѣдь, господинъ, торопиться-то некуда тоже. Видите, — тутъ сторона-то какая! . . . Ну, а тамъ еще хуже, — вѣрьте слову, — говоритъ одинъ изъ провожатыхъ.

Въ избѣ все смолкло. Даже хозяйка сложила свою прясницу съ пряжей и улеглась, переставъ свѣтить лучину. Водворился мракъ и молчаніе, нарушаемое только порывистыми ударами налетавшаго вѣтра.

Я не спалъ. Въ головѣ, подъ шумъ бури, поднимались и летѣли одна за другой тяжелыя мысли.

— Не спится, видно, господинъ, — произноситъ тотъ же провожатый, — «старшой», — человѣкъ довольно симпатичный, съ пріятнымъ, даже какъ будто интеллигентнымъ лицомъ, расторопный, знающій свое дѣло и поэтому не педантъ. Въ пути онъ не прибѣгаетъ къ ненужнымъ стѣсненіямъ и формальностямъ.

— Да, не спится.

Нѣкоторое время проходитъ въ молчаніи, но я слышу, что и мой сосѣдъ не спитъ — чуется, что и ему не до сна, что и въ его головѣ бродятъ какія-то мысли. Другой провожатый, молодой «подручный», спитъ сномъ здороваго, но крѣпко утомленнаго человѣка. Временами онъ что-то невнятно бормочетъ.

— Удивляюсь я вамъ, — слышится опять ровный, грудной голосъ унтера: — народъ молодой, люди благородные, образованные, можно сказать, — а какъ свою жизнь проводите . . .

— Какъ?

— Эхъ, господинъ! Неужто мы не можемъ понимать! . . . Довольно понимаемъ, не въ эдакой, можетъ, жизни были и не къ этому съ измалѣтства-то привыкли . . .

— Ну, это вы пустое говорите . . . Было время и отвыкнуть . . .

— Неужто весело вамъ? — произноситъ онъ тономъ сомнѣнія.

— А вамъ весело? . . .

Молчаніе. Гавриловъ (будемъ такъ звать моего собесѣдника) повидимому о чемъ-то думаетъ:

— Нѣтъ, господинъ, невесело намъ. Вѣрьте слову: иной разъ бываетъ, — просто, кажется, на свѣтъ не глядѣлъ бы . . . Съ чего ужъ это, — не знаю; только иной разъ такъ подступитъ, — ножъ острый, да и только.

— Служба, что ли, тяжелая?

— Служба службой . . . Конечно, не гулянье, да и начальство, надо сказать, строгое, а только все же не съ этого . . .

— Такъ отчего же?

— Кто знаетъ? . . .

Опять молчаніе.

— Служба что. Самъ себя веди аккуратно, только и всего. Мнѣ тѣмъ болѣе домой скоро. Изъ сдаточныхъ я, такъ срокъ выходитъ. Начальникъ и то говоритъ: «Оставайся, Гавриловъ, что тебѣ дѣлать въ деревнѣ? На счету ты хорошемъ» . . .

— Останетесь?

— Нѣтъ. Оно правда, и дома-то . . . Отъ крестьянской работы отвыкъ . . . Пища тоже. Ну и, само собой, обхожденіе . . . Грубость эта . . .

— Такъ въ чемъ же дѣло?

Онъ подумалъ и потомъ сказалъ:

— Вотъ я вамъ, господинъ, ежели не поскучаете, случай одинъ разскажу . . . Со мной былъ . . .

— Разскажите . . .

II.

Поступилъ я на службу въ 1874 году, въ эскадронъ, прямо изъ сдаточныхъ. Служилъ хорошо, можно сказать, — съ полнымъ усердіемъ, все больше по нарядамъ: въ парадъ куда, къ театру, — сами знаете. Грамотѣ хорошо былъ обученъ, ну, и начальство не оставляло. Майоръ у насъ землякъ мнѣ былъ и, какъ видя мое стараніе, — призываетъ разъ меня къ себѣ и говоритъ: «Я тебя, Гавриловъ, въ унтеръ-офицеры представлю . . . Ты въ командировкахъ бывалъ ли?» — Никакъ нѣтъ, говорю, ваше высокоблагородіе. — «Ну, говоритъ, въ слѣдующій разъ назначу тебя въ подручные, — присмотришься, — дѣло не хитрое». — Слушаю, говорю, ваше высокоблагородіе, радъ стараться.

А въ командировкахъ я точно-что не бывалъ ни разу, — вотъ съ вашимъ братомъ, значитъ. Оно, хоть, скажемъ, дѣло-то нехитрое, а все же, знаете, инструкціи надо усвоить, да и расторопность нужна. Ну, хорошо . . .

Черезъ недѣлю этакъ мѣста, зоветъ меня дневальный къ начальнику, и унтеръ-офицера одного вызываетъ. Пришли. — «Вамъ, говоритъ, въ командировку ѣхать. Вотъ тебѣ — говоритъ унтеръ-офицеру — подручный. Онъ еще не бывалъ. Смотрите, не зѣвать, справьтесь, говоритъ, ребята, молодцами, — барышню вамъ везти изъ замка, политичку, Моровову. Вотъ вамъ инструкція, завтра деньги получай и съ Богомъ! . . .»

Ивановъ, унтеръ-офицеръ, въ старшихъ со мною ѣхалъ, а я въ подручныхъ, — вотъ какъ у меня теперь другой-то жандармъ. Старшему сумка казенная дается, деньги онъ на руки получаетъ, бумаги; онъ расписывается, счеты эти ведетъ, ну, а рядовой въ помощь ему: послать куда, за вещами присмотрѣть, то, другое.

Ну, хорошо. Утромъ, чуть свѣтъ еще, — отъ начальника вышли, — гляжу: Ивановъ мой ужъ выпить гдѣ-то успѣлъ. А человѣкъ былъ, — надо прямо говорить, — не подходящій, — разжалованъ теперь . . . На глазахъ у начальства какъ слѣдуетъ быть унтеръ-офицеру, и даже такъ, что на другихъ кляузы наводилъ, выслуживался. А чуть съ глазъ долой, сейчасъ и завертится, и первымъ дѣломъ — выпить!

Пришли мы въ замокъ, какъ слѣдуетъ, бумагу подали, — ждемъ, стоимъ. Любопытно мнѣ, — какую барышню везти-то придется, а везти назначено намъ по маршруту далеко. По самой этой дорогѣ ѣхали, только въ городъ уѣздный ѳна назначена была, не въ волость. Вотъ, мнѣ и любопытно въ первый-то разъ: что, молъ, за политичка такая?

Только прождали мы этакъ съ часъ мѣста, пока ея вещи собирали, — а и вещей-то съ ней узелокъ маленькій, — юбчонка тамъ, ну, то, другое, — сами знаете. Книжки тоже были, а больше ничего съ ней не было; небогатыхъ, видно, родителей, думаю. Только выводятъ ее, — смотрю, молодая еще, какъ

есть ребенкомъ мнѣ показалась. Волосы русые, въ одну косу собраны, на щекахъ румянецъ. Ну, потомъ увидѣлъ я — блѣдная совсѣмъ, бѣлая во всю дорогу была. И сразу мнѣ ее жалко стало . . . Конечно, думаю . . . Начальство, извините . . . зря не накажетъ . . . Значитъ сдѣлала какое-нибудь качество по этой, по политической части . . . Ну, а все-таки . . . жалко, такъ жалко, — просто, ну!

Стала она одѣваться: пальто, калоши . . . Вещи намъ ея показали, — правило значитъ: по инструкціи мы вещи смотрѣть обязаны. — «Деньги, спрашиваемъ, съ вами какія будутъ?» Рубль двадцат копеекъ денегъ оказалось, — старшой къ себѣ взялъ. — «Васъ, барышня, говоритъ ей, я обыскать долженъ.»

Какъ она тутъ вспыхнетъ. Глаза загорѣлись, румянецъ еще гуще выступилъ. Губы тонкія, сердитыя . . . Какъ посмотрѣла на насъ, — вѣрите: оробѣлъ я и подступиться не смѣю. Ну, а старшой, извѣстно, выпивши: лѣзетъ къ ней прямо. «Я, говоритъ, обязанъ; у меня, говоритъ, инструкція! . . .»

Какъ тутъ она крикнетъ — даже Ивановъ, и тотъ отъ нея попятился. Гляжу я на нее, — лицо поблѣднѣло, ни кровинки, а глаза потемнѣли, и злая-презлая . . . Ногой топаетъ, говоритъ шибко, — только я, признаться, хорошо и не слушалъ, что она говорила . . . Смотритель тоже испугался, воды ей принесъ въ стаканѣ. — «Успокойтесь, — проситъ ее, — пожалуйста, говоритъ, сами себя пожалѣйте!» Ну она и ему не уважила, — «Варвары вы, говоритъ,

холопы!» И прочія тому подобныя дерзкія слова выражаетъ. Какъ хотите: супротивъ начальства это вѣдь не хорошо. Ишь, думаю, змѣенышъ . . . Дворянское отродье!

Такъ мы ее и не обыскивали. Увелъ ее смотритель въ другую комнату, да съ надзирательницей тотчасъ же и вышли они. — «Ничего, говоритъ, при нихъ нѣтъ.» — А она на него глядитъ и точно вотъ смѣется въ лицо ему, и глаза злые все. А Ивановъ, — извѣстно, море по колѣна, — смотритъ да все свое бормочетъ: — «Не по закону, — у меня, говоритъ, инструкція! . . .» Только смотритель вниманія не взялъ. Конечно, какъ онъ пьяный. Пьяному какая вѣра!

Поѣхали. По городу проѣзжали, — все она въ окна кареты глядитъ, точно прощается, либо знакомыхъ увидѣть хочетъ. А Ивановъ взялъ, да занавѣски опустилъ, — окна и закрылъ. Забилась она въ уголъ, прижалась и не глядитъ на насъ. А я, признаться, не утерпѣлъ таки: взялъ за край одну занавѣску, будто самъ поглядѣть хочу, — и открылъ такъ, чтобы ей видно было . . . Только она и не посмотрѣла, — въ уголку сердитая сидитъ, губы закусила . . . Въ кровь, такъ я себѣ думалъ, искусаетъ.

Поѣхали по желѣзной дорогѣ. Погода ясная этотъ день стояла, — осенью дѣло это было, въ сентябрѣ мѣсяцѣ. Солнце-то свѣтитъ, да вѣтеръ свѣжій, осенній, а она въ вагонѣ окно откроетъ, сама высунется на вѣтеръ, такъ и сидитъ. По ин-

струкціи-то оно не полагается, знаете, окна открывать, да Ивановъ мой, какъ въ вагонъ ввалился, такъ и захрапѣлъ; а я не смѣю ей сказать. Потомъ осмѣлился, подошелъ къ ней и говорю: — Барышня, говорю, закройте окно. — Молчитъ, будто не ей и говорятъ. Постоялъ я тутъ, постоялъ, а потомъ опять говорю:

— Простудитесь, барышня, — холодно вѣдь.

Обернулась она ко мнѣ и уставилась глазищами, точно удивилась чему . . . Поглядѣла на меня да и говоритъ: — Оставьте! — И опять въ окно высунулась. Махнулъ я рукой, отошелъ въ сторону.

Стала она спокойнѣе будто. Закроетъ окно, въ пальтишко закутается вся, грѣется. Вѣтеръ, говорю, свѣжій былъ, студено! А потомъ опять къ окну сядетъ, и опять на вѣтру вся, — послѣ тюрьмы-то, видно, не наглядится. Повеселѣла даже, глядитъ себѣ, улыбается. И такъ на нее въ тѣ поры хорошо смотрѣть было! . . . Вѣрите совѣсти . . .

Разсказчикъ замолчалъ и задумался. Потомъ продолжалъ, какъ будто слегка конфузясь:

— Конечно, не съ привычки это . . . Потомъ много возилъ, привыкъ. А тотъ разъ чудно мнѣ показалось: куда, думаю, мы ее веземъ, дитё этакое... И потомъ . . . признаться вамъ, господинъ, ужъ вы не осудите: что, думаю, ежели бы у начальства попросить, да въ жены ее взять . . . Вѣдь ужъ я бы изъ нея дурь-то эту выкурилъ. Человѣкъ я, тѣмъ болѣе, служащій . . . Конечно, молодой разумъ . . ,

глупый . . . Теперь могу понимать . . . Попу тогда на духу разсказалъ, онъ говоритъ: вотъ отъ этой самой мысли порча у тебя и пошла. Потому что она, вѣрно, и въ Бога-то не вѣритъ . . .

Отъ Костромы на тройкѣ ѣхать пришлось, — Ивановъ у меня пьянъ-пьянешенекъ: проспится и опять заливаетъ. Вышелъ изъ вагона, шатается. Ну, думаю, плохо, какъ бы денегъ казенныхъ не растерялъ. Ввалился въ почтовую телѣгу, легъ и разомъ захрапѣлъ. Сѣла она рядомъ, — неловко. Посмотрѣла на него, ну, точно вотъ на гадину на какую. Подобралась такъ, чтобы не тронуть его какъ-нибудь, — вся въ уголку и прижалась, а я-то ужъ на облучкѣ усѣлся. Какъ поѣхали, — вѣтеръ сиверный, — я и то продрогъ. Закашляла крѣпко и платокъ къ губамъ поднесла, а на платкѣ, гляжу, кровь. Такъ меня будто кто въ сердце кольнулъ булавкой. — Эхъ, говорю, барышня, — какъ можно! Больны вы, а въ такую дорогу поѣхали, — осень, холодно! . . . Нешто, говорю, можно этакъ!

Вскинула она на меня глазами, посмотрѣла, и точно опять внутри у нея закипать стало.

— Что вы, говоритъ, глупы, что ли? — Не понимаете, что я не по своей волѣ ѣду. Хорошъ, говоритъ: самъ везетъ, да туда же еще съ жалостью суется!

— Вы бы, говорю, начальству заявили, — въ больницу хоть слегли бы, чѣмъ въ этакой холодъ ѣхать. Дорога-то вѣдь не близкая!

— А куда? — спрашиваетъ.

А намъ, знаете, строго запрещено объяснять преступникамъ, куда ихъ везти приказано. Видитъ она, что я позамялся, и отвернулась. — Не надо, — говоритъ, — это я такъ . . . Не говорите ничего, да ужъ и сами не лѣзьте.

Не утерпѣлъ я. — Вотъ, говорю, куда вамъ ѣхать. Не близко! — Сжала она губы, брови сдвинула, да ничего и не сказала. Покачалъ я головой . . . — Вотъ, то-то, говорю, барышня. Молоды вы, не знаете еще, что это значитъ!

Крѣпко мнѣ досадно было . . . Разсердился . . . А она опять посмотрѣла на меня и говоритъ:

— Напрасно, говоритъ, вы такъ думаете. Знаю я хорошо, что это значитъ, а въ больницу все-таки не слегла. Спасибо! Лучше ужъ, коли помирать, такъ на волѣ, у своихъ. А то можетъ еще и поправлюсь, такъ опять же на волѣ, а не въ больницѣ вашей тюремной. Вы думаете, говоритъ, отъ вѣтру я, что ли, заболѣла, отъ простуды? Какъ бы не такъ!... — «Тамъ у васъ, спрашиваю, сродственники, что ли, находятся?» — Это я потому, какъ она мнѣ выразила, что у *своихъ* поправляться хочетъ.

— Нѣтъ, говоритъ, у меня тамъ ни родни, ни знакомыхъ. Городъ-то мнѣ чужой, да вѣрно такіе же, какъ и я, ссыльные есть, товарищи. — Подивился я, — какъ это она чужихъ людей своими называетъ, — неужто, думаю, кто ее безъ денегъ тамъ поить-кормить станетъ, да еще незнакомую? . . .

Только не сталъ ее разспрашивать, потому вижу я: брови она поднимаетъ, недовольна, зачѣмъ я разспрашиваю.

— Ладно, думаю . . . Пущай! Нужды еще не видала. Хлебнетъ горя, узнаетъ небось, что значитъ чужая сторона . . .

Къ вечеру тучи надвинулись, вѣтеръ подулъ холодный, — а тамъ и дождь пошелъ. Грязь и прежде была не высохши, а тутъ до того развезло, — просто кисель, не дорога! Спину-то мнѣ какъ есть грязью всю забрызгало, да и ей порядочно попадать стало. Однимъ словомъ сказать, что погода, на ея несчастіе, пошла самая скверная: дождикомъ прямо въ лицо сѣчетъ: оно хоть, положимъ, кибитка-то крытая, и рогожей я ее закрылъ, да куда тутъ! Течетъ всюду, продрогла, гляжу: вся дрожитъ и глаза закрыла. По лицу капли дождевыя потекли, а щеки блѣдныя, и не двинется, точно въ безчувствіи. Испугался я даже. Вижу: дѣло-то выходитъ неподходящее, плохое . . . Ивановъ пьянъ, — храпитъ себѣ, горюшка мало . . . Что тутъ дѣлать, тѣмъ болѣе я въ первый разъ.

Въ Ярославль городъ самымъ вечеромъ пріѣхали. Растолкалъ я Иванова, на станцію вышли, — велѣлъ я самоваръ согрѣть. А изъ города изъ этого пароходы ходятъ, только по инструкціи намъ на пароходахъ возить строго воспрещается. Оно хоть нашему брату выгоднѣе, — экономію загнать можно, да боязно. На пристани, знаете, полицейскіе стоятъ,

а то и нашъ же братъ, жандармъ мѣстный, кляузу подвести завсегда можетъ. Вотъ, барышня-то и говоритъ намъ: — «Я говоритъ, далѣе на почтовыхъ не поѣду. Какъ знаете, говоритъ, пароходомъ везите.» А Ивановъ еле глаза продралъ съ похмелья, — сердитый. — «Вамъ объ этомъ, говоритъ, разсуждать не полагается. Куда повезутъ, туда и поѣдете!» Ничего она ему не сказала, а мнѣ говоритъ:

— Слышали, говоритъ, что я сказала: не ѣду.

Отозвалъ я тутъ Иванова въ сторону. — «Надо, говорю, на пароходѣ везти. Вамъ же лучше: экономія останется.» Онъ на это пошелъ, только труситъ. — «Здѣсь, говоритъ, полковникъ, такъ какъ бы чего не вышло. Ступай, говоритъ, спросись, — мнѣ, говоритъ, нездоровится что-то.» А полковникъ неподалеку жилъ. — «Пойдемъ, говорю, вмѣстѣ и барышню съ собой возьмемъ.» — Боялся я: Ивановъ-то, думаю, спать завалится спьяну, такъ какъ бы чего не вышло. Чего добраго — уйдетъ она или надъ собой что сдѣлаетъ, — въ отвѣтъ попадешь. Ну, пошли мы къ полковнику. Вышелъ онъ къ намъ. — «Что надо?» — спрашиваетъ. Вотъ она ему и объясняетъ, да тоже и съ нимъ не ладно заговорила. Ей бы попросить смирненько: такъ и такъ, молъ, сдѣлайте божескую милость, — а она тутъ по-своему. — «По какому праву» — говоритъ, ну и прочее; все, знаете, дерзкія слова выражаетъ, которыя вы, вопче, политики любите. Ну, сами пони-

маете, начальству это не нравится. Начальство любитъ покорность. Однако выслушалъ онъ ее и ничего, — вѣжливо отвѣчаетъ: «Не могу-съ, говоритъ, ничего я тутъ не могу. По закону-съ . . . нельзя!» Гляжу, барышня-то моя опять раскраснѣлась, глаза точно угли. — «Законъ!» — говоритъ, и засмѣялась по-своему, сердито да громко. — «Такъ точно, — полковникъ ей: — законъ-съ!»

Признаться, я тутъ позабылся немного, да и говорю: — «Точно что, вашескородіе, законъ, да онѣ, ваше высокоблагородіе, больны.» Посмотрѣлъ онъ на меня строго. — «Какъ твоя фамилія?» — спрашиваетъ. — «А вамъ, барышня, — говоритъ, если больны вы, — въ больницу тюремную неугодно ли-съ?» Отвернулась она и пошла вонъ, слова не сказала. Мы за ней. Не захотѣла въ больницу, да и то надо сказать: ужъ если на мѣстѣ не осталась, а тутъ безъ денегъ, да на чужой сторонѣ, точно что не приходится.

Ну, дѣлать нечего. Ивановъ на меня же накинулся: — «Что, молъ, теперь будетъ; непремѣнно изъ-за тебя, дурака, оба въ отвѣтѣ будемъ.» Велѣлъ лошадей запрягать и ночь переждать не согласился, такъ къ ночи и выѣзжать пришлось. Подошли мы къ ней: — «Пожалуйте, говоримъ, барышня, — лошади поданы.» А она на диванъ прилегла, — только согрѣваться стала. Вспрыгнула на ноги, встала передъ нами, — выпрямилась вся, — прямо на насъ смотритъ въ упоръ, даже, скажу вамъ, жутко на

нее глядѣть стало. — «Проклятые вы», говоритъ, — и опять по-своему заговорила, непонятно. Ровно бы и по-русски, а ничего понять невозможно. Только сердито да жалко: — «Ну, говоритъ, теперь ваша воля, вы меня замучить можете, — что хотите, дѣлаете Ѣду!» А самоваръ-то все на столѣ стоитъ, она еще и не пила. Мы съ Ивановымъ свой чай заварили, и ей я налилъ. Хлѣбъ съ нами бѣлый былъ, я тоже ей отрѣзалъ. — «Выкушайте, говорю, на дорогу-то. Ничего, хоть согрѣетесь немного.» Она калоши надѣвала, бросила надѣвать, повернулась ко мнѣ, смотрѣла, смотрѣла, потомъ плечами повела и говоритъ:

— Что это за человѣкъ такой! Совсѣмъ вы, кажется, сумасшедшій. Стану я, говоритъ, вашъ чай пить! — Вотъ до чего мнѣ тогда обидно стало: и посейчасъ вспомню, кровь въ лицо бросается. Вотъ вы не брезгаете же съ нами хлѣбъ-соль ѣсть. Рубанова господина везли, штабъ-офицерскій сынъ, а тоже не брезгалъ. А она побрезгала. Велѣла потомъ на другомъ столѣ себѣ самоваръ особо согрѣть и ужъ извѣстно: за чай за сахаръ вдвое заплатила. А всего-то и денегъ — рубль двадцать!

III.

Разсказчикъ смолкъ, и на нѣкоторое время въ избѣ водворилась тишина, нарушаемая только ровнымъ дыханіемъ младшаго жандарма и шипѣніемъ метели за окномъ.

— Вы не спите? — спросилъ у меня Гавриловъ.

— Нѣтъ, продолжайте, пожалуйста; я слушаю.

— . . . Много я отъ нея, — продолжалъ разсказчикъ, помолчавъ, — много муки тогда принялъ. Дорогой-то, знаете, ночью, все дождикъ, погода злая . . . Лѣсомъ поѣдешь, лѣсъ стономъ стонетъ. Ее-то мнѣ и не видно, потому ночь темная, ненастная, зги не видать, а повѣрите, — такъ она у меня передъ глазами стоитъ, то-есть даже до того, что вотъ, точно днемъ, ее вижу: и глаза ея, и лицо сердитое, и какъ она иззябла вся, а сама все глядитъ куда-то, точно все мысли свои про себя въ головѣ ворочаетъ. Какъ со станціи поѣхали, сталъ я ее тулупомъ одѣвать. — «Надѣньте, говорю, тулупъ-то, — все, знаете, теплѣе.» Кинула тулупъ съ себя. — «Вашъ, говоритъ, тулупъ, — вы и надѣвайте.» Тулупъ, точно, что мой былъ, да догадался я и говорю ей: «Не мой, говорю, тулупъ, казенный, по закону, арестованнымъ полагается.» Ну, одѣлась . . .

Только и тулупъ не помогъ: какъ развсвѣло, — глянулъ я на нее, а на ней лица нѣтъ. Со станціи опять поѣхали, приказала она Иванову на облучокъ сѣсть. Поворчалъ онъ, да не посмѣлъ ослушаться, тѣмъ болѣе, — хмель-то у него прошелъ немного. Я съ ней рядомъ сѣлъ.

Трои сутки мы ѣхали и нигдѣ не ночевали. Первое дѣло: по инструкціи сказано — не останавливаться на ночлегъ, а «въ случаѣ сильной усталости»

— не иначе, какъ въ городахъ, гдѣ есть караулы. Ну, а тутъ, сами знаете, какіе города!

Пріѣхали-таки на мѣсто. Точно гора у меня съ плечъ долой, какъ городъ мы завидѣли. И надо вамъ сказать: въ концѣ она почитай что на рукахъ у меня и ѣхала. Вижу — лежитъ въ повозкѣ безъ чувствъ; тряхнетъ на ухабѣ телѣгу, такъ она головой о переплетъ и ударится. Поднялъ я ее на руку на правую, такъ и везъ; все легче. Сначала оттолкнула было меня, — «прочь! — говоритъ, — не прикасайтесь!» А потомъ ничего. Можетъ, оттого, что въ безпамятствѣ была . . . Глаза-то закрыты, вѣки совсѣмъ потемнѣли, и лицо лучше стало, не такое сердитое. И даже такъ было, что засмѣется сквозь сонъ и просвѣтлѣетъ, прижимается ко мнѣ, къ теплому-то. Вѣрно ей, бѣдной, хорошее во снѣ грезилось. Какъ къ городу подъѣзжать стали, очнулась, поднялась . . . Погода-то прошла, солнце выглянуло, — повеселѣла . . .

. . . Только изъ губерніи ее далѣе отправили, въ городѣ въ губернскомъ не оставили, и намъ же ее дальше везти привелось, — тамошніе жандармы въ разъѣздахъ были. Какъ уѣзжать намъ, — гляжу, въ полицію народу набирается: барышни молодыя, да господа, студенты, видно, изъ ссыльныхъ . . . И всѣ, точно знакомые, съ ней говорятъ, за руку здороваются, разспрашиваютъ. Денегъ ей сколько-то принесли, платокъ пуховый на дорогу, хорошій . . . Проводили . . .

ѣхала веселая, только кашляла часто. А на насъ и не смотрѣла.

Пріѣхали въ уѣздный городъ, гдѣ ей жительство назначено; сдали ее подъ росписку. Сейчасъ она фамилію какую-то называетъ. — «Здѣсь, говоритъ, такой-то?» — Здѣсь, отвѣчаютъ. Исправникъ пріѣхалъ. — «Гдѣ, говоритъ, жить станете?» — «Не знаю, говоритъ, а пока къ Рязанцеву пойду.» Покачалъ онъ головой, а она собралась и ушла. Съ нами и не попрощалась . . .

IV.

Разсказчикъ смолкъ и прислушался, не сплю ли я.

— Такъ вы ее больше и не видѣли?

— Видалъ, да лучше бы ужъ не видать было . . .

. . . И скоро даже я опять ее увидѣлъ. Какъ пріѣхали мы изъ командировки, — сейчасъ насъ опять нарядили и опять въ ту же сторону. Студента одного возили, Загряжскаго. Веселый такой, пѣсни хорошо пѣлъ и выпить былъ не дуракъ. Его еще дальше послали. Вотъ поѣхали мы черезъ городъ тотъ самый, гдѣ ее оставили, и стало мнѣ любопытно про житье ея узнать. — «Тутъ, спрашиваю, барышня-то наша?» — Тутъ, говорятъ, только чудная она какая-то: какъ пріѣхала, такъ прямо къ ссыльному пошла, и никто ее послѣ не видалъ, — у него и живетъ. Кто говоритъ: больна она, а то баютъ: въ родѣ она у него за любовницу живетъ. Извѣстно, народъ

болтаетъ» . . . А мнѣ вспомнилось, что она говорила: «Помереть мнѣ у *своихъ* хочется.» И такъ мнѣ любопытно стало . . . и не то, что любопытно, а попросту сказать, потянуло. Схожу, думаю, повидаю ее. Отъ меня она зла не видала, а я на ней зла не помню. Семъ схожу . . .

Пошелъ, — добрые люди дорогу показали; а жила она въ концѣ города. Домикъ маленькій, дверца низенькая. Вошелъ я къ ссыльному-то къ этому, гляжу: чисто у него, комната свѣтлая, въ углу кровать стоитъ, и занавѣской уголъ отгороженъ. Книгъ много, на столѣ, на полкахъ . . . А рядомъ мастерская махонькая, тамъ на скамейкѣ другая постель положена.

Какъ вошелъ я, — она на постелѣ сидѣла, шалью обернута и ноги подъ себя подобрала, — шьетъ что-то. А ссыльный Рязанцевъ господинъ по фамиліи . . . рядомъ на скамейкѣ сидитъ, въ книжкѣ ей что-то вычитываетъ. Въ очкахъ, человѣкъ, видно, сурьезный. Шьетъ она, а сама слушаетъ. Стукнулъ я дверью, она какъ увидала, приподнялась, за руку его схватила, да такъ и замерла. Глаза большіе, темные, да страшные . . . ну, все, какъ и прежде бывало, только еще блѣднѣе съ лица мнѣ показалась. За руку его крѣпко стиснула, — онъ испугался, къ ней кинулся. — «Что, говоритъ, съ вами? успокойтесь!» А самъ меня не видитъ. Потомъ отпустила она руку его, — съ постели встать хочетъ. — «Прощайте, говоритъ ему: — видно, имъ для меня и смерти

хорошей жалко.» Тутъ и онъ обернулся, увидалъ меня, — какъ вскочитъ на ноги. Думалъ я, — кинется . . . убьетъ, пожалуй. Человѣкъ, тѣмъ болѣе, рослый, здоровый . . .

Они, знаете, подумали такъ, что опять это за нею пріѣхали . . . только видитъ онъ, — стою я и самъ ни живъ, ни мертвъ, да и одинъ. Повернулся къ ней, взялъ за руку. — «Успокойтесь, говоритъ. — А вамъ, спрашиваетъ, кавалеръ, — что здѣсь собственно понадобилось? . . . Зачѣмъ пожаловали?»

Я объяснилъ, что, молъ, ничего мнѣ не нужно, а такъ пришелъ, самъ по себѣ. Какъ везъ молъ барышню, и были онѣ нездоровы, такъ узнать пришелъ . . . Ну, онъ обмякъ. А она все такая же сердитая, кипитъ вся. И за что бы, кажется? Ивановъ, конечно, человѣкъ необходительный. Такъ я же за нее заступался . . .

Разобралъ онъ, въ чемъ дѣло, засмѣялся къ ней. — «Ну вотъ видите, говоритъ, — я же вамъ говорилъ.» — Я такъ понялъ, что ужъ у нихъ былъ разговоръ обо мнѣ . . . Про дорогу она, видно, разсказывала.

— Извините, говорю, ежели напугалъ васъ . . . Не во-время или что . . . Такъ я и уйду. Прощайте, молъ, не поминайте лихомъ, добромъ видно не помянете.

Всталъ онъ, въ лицо мнѣ посмотрѣлъ и руку подаетъ.

— Вотъ что, говоритъ, — поѣдете назадъ, сво-

бодно будетъ, — заходите, пожалуй. — А она смотритъ на насъ да усмѣхается по-своему, не хорошо.

— Не понимаю я, говоритъ, зачѣмъ ему заходить? И для чего зовете? — А онъ ей: — Ничего, ничего! Пусть зайдетъ, если самъ опять захочетъ . . . заходите, заходите, ничего!

Не все я, признаться, понялъ, что они тутъ еще говорили. Вы вѣдь, господа, мудрено иной разъ промежъ себя разговариваете . . . А любопытно. Ежели бы такъ остаться, послушать . . . ну, мнѣ неловко, — какъ бы чего не подумали. Ушелъ.

Ну, только свезли мы господина Загряжскаго на мѣсто, ѣдемъ назадъ. Призываетъ исправникъ старшого и говоритъ: — «Вамъ тутъ оставаться впередъ до распоряженія; телеграмму получилъ. Бумагъ вамъ ждать по почтѣ.» Ну, мы, конечно, остались.

Вотъ я опять къ нимъ: — дай, думаю, зайду, хоть у хозяевъ про нее спрошу. Зашелъ. Говоритъ хозяинъ домовый: — «Плохо, говоритъ, какъ бы не померла. Боюсь, въ отвѣтъ не попасть бы, — потому собственно, что попа звать не станутъ.» Только стоимъ мы, разговариваемъ, а въ это самое время Рязанцевъ вышелъ. Увидѣлъ меня, поздоровался да и говоритъ: — «Опять пришелъ? Что жъ, войди, пожалуй.» Я и вошелъ тихонько, а онъ за мной вошелъ. Поглядѣла она, да и спрашиваетъ: — «Опять этотъ странный человѣкъ! . . . Вы, что ли, его позвали?» — «Нѣтъ, говоритъ, не звалъ я, — самъ онъ пришелъ.» Я не утерпѣлъ и говорю ей:

— Что это, говорю, барышня, — за что вы сердце противъ меня имѣете? Или я врагъ вамъ какой?

— Врагъ и есть, говоритъ, — а вы развѣ не знаете? Конечно врагъ! — Голосъ у нея слабый сталъ, тихій, на щекахъ румянецъ такъ и горитъ, и столь лицо у нея пріятное . . . кажется, не наглядѣлся бы. Эхъ, думаю, — не жилица она на свѣтѣ, — сталъ прощенія просить, — какъ бы, думаю, безъ прощенія не померла. — «Простите меня, говорю, — коли вамъ зло какое сдѣлалъ.» Извѣстно, какъ по-нашему, по-христіански полагается . . . А она опять, гляжу, закипаетъ . . . — «Простить! вотъ еще! Никогда не прощу, и не думайте, никогда! Помру скоро . . . такъ и знайте: не простила!»

Разсказчикъ опять смолкъ и задумался. Потомъ продолжалъ тише и сосредоточеннѣе:

— Опять у нихъ промеждусебя разговоръ пошелъ. Вы вотъ человѣкъ образованный, по-ихнему понимать должны, такъ я вамъ скажу, какія слова я упомнилъ. Слова-то запали и посейчасъ помню, а смыслу не знаю. Онъ говоритъ:

— Видите: не жандармъ къ вамъ пришелъ сейчасъ . . . Жандармъ васъ везъ, другого повезетъ, такъ это онъ все по инструкціи. А сюда-то его развѣ инструкція привела? Вы вотъ что, говоритъ, господинъ кавалеръ, не знаю какъ звать васъ . . .

— Степанъ, — говорю.

— А по батюшкѣ какъ?

— Петровичемъ звали.

— Такъ вотъ, молъ, Степанъ Петровичъ. Вы вѣдь сюда почему пришли? По человѣчеству? Правда?

— Конечно, говорю, по человѣчеству. Это, говорю, вы вѣрно объясняете. Ежели по инструкціи, такъ это намъ вовсе даже не полагается, что къ вамъ заходить безъ надобности. Начальство узнаетъ — не похвалитъ.

— Ну, вотъ видите, — онъ ей говоритъ и за руку ее взялъ. Она руку выдернула.

— Ничего, говоритъ, не вижу. Это вы видите чего и нѣтъ. А мы съ нимъ вотъ (это значитъ со мной) люди простые. Враги такъ враги, и нечего тутъ антимоніи разводить. Ихнее дѣло — смотри, наше дѣло — не зѣвай. Онъ, вотъ видите: стоитъ, слушаетъ. Жалко, не понимаетъ, а то бы въ донесеніи все написалъ . . .

Повернулся онъ въ мою сторону, смотритъ прямо на меня, въ очки. Глаза у него вострые, а добрые. — «Слышите? — мнѣ говоритъ. — Что же вы скажете? . . . Впрочемъ не объясняйте ничего: я такъ считаю, что вамъ это обидно.»

Оно, скажемъ, конечно . . . по инструкціи такъ полагается, что ежели что супротивъ интересу, то обязанъ я, по присяжной должности, на отца родного донести . . . Ну, только какъ я не затѣмъ, значитъ, пришелъ, то вѣрно, что обидно мнѣ показалось,

просто за сердце взяло. Повернулся къ дверямъ, да Рязанцевъ удержалъ.

— Погоди, говоритъ, Степанъ Петровичъ, — не уходи еще. А ей говоритъ: — «Не хорошо это . . . Ну, не прощайте, и не миритесь. Объ этомъ что говорить. Онъ и самъ, можетъ, не простилъ бы, ежели бы какъ слѣдуетъ все понялъ . . . Да вѣдь и врагъ тоже человѣкъ бываетъ . . . А вы этого-то вотъ и не признаете. Сек-тан-тка вы, говоритъ, вотъ что!

— Пусть, — она ему, — а вы равнодушный человѣкъ. Вамъ бы, говоритъ, только книжки читать . . .

Какъ она ему это слово сказала, — онъ, чудное дѣло — даже на ноги вскочилъ. Точно ударила его. Она, вижу, испугалась даже.

— Равнодушный? — онъ говоритъ. — Ну, вы сами знаете, что неправду сказали.

— Пожалуй, — она ему отвѣчаетъ . . . — А вы мнѣ — правду? . . .

— А я, говоритъ, правду: — настоящая вы боярыня Морозова . . .

Задумалась она, руку ему протянула; онъ руку-то взялъ, а она въ лицо ему посмотрѣла-посмотрѣла, да и говоритъ: «Да, вы пожалуй и правы!» А я стою, какъ дуракъ, смотрю, а у самого такъ и сосетъ что-то у сердца, такъ и подступаетъ. Потомъ обернулась ко мнѣ, посмотрѣла и на меня безъ гнѣва и руку подала. — «Вотъ, говоритъ, что я вамъ скажу: враги

мы до смерти . . . Ну, да Богъ съ вами, руку вамъ подаю, — желаю вамъ когда-нибудь человѣкомъ стать, — вполнѣ, не по инструкціи . . . Устала я», — говоритъ ему.

Я и вышелъ. Рязанцевъ тоже за мной вышелъ. Стали мы во дворѣ, и вижу я: на глазахъ у него будто слеза поблескиваетъ.

— Вотъ что, говоритъ, Степанъ Петровичъ. Долго вы еще тутъ пробудете?

— Не знаю, говорю, можетъ и еще дня три, до почты.

— Ежели, говоритъ, еще зайти захотите, такъ ничего, зайдите. Вы, кажется, говоритъ, человѣкъ, по своему дѣлу, ничего . . .

— Извините, говорю, напугалъ . .

— То-то, говоритъ, ужъ вы лучше хозяйкѣ сначала скажите.

— А что я хочу спросить, говорю, вы вотъ про боярыню говорили, про Морозову. Онѣ значитъ боярскаго роду?

— Боярскаго, говоритъ, или не боярскаго, а ужъ порода такая: сломать ее, говоритъ, можно . . . Вы и то ужъ сломали . . . Ну, а согнуть, — самъ, чай, видѣлъ: не гнутся этакія.

На томъ и попрощались.

V.

. . . Померла она скоро. Какъ хоронили ее, я и не видалъ, — у исправника былъ. Только на

другой день ссыльнаго этого встрѣтилъ; подошелъ къ нему, — гляжу: на немъ лица нѣтъ . . .

Росту былъ онъ высокаго, съ лица сурьезный, да ранѣе привѣтливо смотрѣлъ, а тутъ звѣремъ на меня, какъ есть, глянулъ. Подалъ было руку, а потомъ вдругъ руку мою бросилъ и самъ отвернулся. — «Не могу, говорить, я тебя видѣть теперь. Уйди, братецъ, Бога ради, уйди! . . .» — Опустилъ голову, да и пошелъ, а я на фатеру пришелъ и такъ меня засосало, — просто, пищи дни два не принималъ. Съ этихъ самыхъ поръ тоска и увязалась ко мнѣ. Точно порченый.

На другой день исправникъ призвалъ насъ и говоритъ: «Можете, говоритъ, теперь отправляться: пришла бумага, да поздно.» Видно, опять намъ ее везти пришлось бы, да ужъ Богъ ее пожалѣлъ: самъ убралъ.

. . . Только что еще со мной послѣ случилось, — не конецъ вѣдь еще. Назадъ ѣдучи, пріѣхали мы на станцію одну . . . Входимъ въ комнату, а тамъ на столѣ самоваръ стоитъ, закуска всякая, и старушка какая-то сидитъ, хозяйку чаемъ угощаетъ. Чистенькая старушка, маленькая, да веселая такая и говорливая. Все хозяйкѣ про свои дѣла разсказываетъ. «Вотъ говоритъ, собрала я пожитки, домъ-то, по наслѣдству который достался, продала и поѣхала къ моей голубкѣ. То-то обрадуется! Ужъ и побранитъ, разсердится, знаю, что разсердится, — а все же рада будетъ. Писала мнѣ, не велѣла

пріѣзжать. Чтобы даже ни въ какомъ случаѣ не смѣла я къ ней ѣхать. Ну, да ничего это!»

Такъ тутъ меня ровно кто подъ лѣвый бокъ толкнулъ. Вышелъ я въ кухню. — «Что за старушка? — спрашиваю у дѣвки-прислуги. — «А это, говоритъ, самой той барышни, что вы тотъ разъ везли, — матушка родная будетъ.» Тутъ меня шатнуло даже. Видитъ дѣвка, какъ я въ лицѣ разстроился, спрашиваетъ: — «Что, говоритъ, служивый, съ тобой?»

— Тише, говорю, что орешь . . . барышня-то померла.

Тутъ она, дѣвка эта, — и дѣвка-то, надо сказать, гулящая была, съ проѣзжающими баловала, — какъ всплеснетъ руками да какъ заплачетъ, и изъ избы вонъ. Взялъ и я шапку, да и самъ вышелъ, — слышалъ только, какъ старуха въ залѣ съ хозяйкой все болтаютъ, и такъ мнѣ этой старухи страшно стало, такъ страшно, что и выразить невозможно. Побрелъ я прямо по дорогѣ, — послѣ ужъ Ивановъ меня догналъ съ телѣгой, я и сѣлъ.

VI.

. . . Вотъ какое дѣло! . . . А исправникъ донесъ видно начальству, что я къ ссыльнымъ ходилъ, да и полковникъ костромской тоже донесъ, какъ я за нее заступался, — одно къ одному и подошло. Не хотѣлъ меня начальникъ и въ унтеръ-офицеры представлять. «Какой ты, говоритъ, унтеръ-офицеръ, — баба ты! Въ карцеръ бы тебя, дурака!» Только

я въ это время въ равнодушіи находился и даже нисколько не жалѣлъ ничего!

И все я эту барышню сердитую забыть не могъ, да и теперь то же самое: такъ и стоитъ, бываетъ, передъ глазами.

Что бы это значило? Кто бы мнѣ объяснилъ! Да вы, господинъ, не спите?

Я не спалъ . . . Глубокій мракъ закинутой въ лѣсу избушки томилъ мою душу, и скорбный образъ умершей дѣвушки вставалъ въ темнотѣ подъ глухія рыданія бури . . .

1880 г.

Лѣсъ шумитъ

Полѣсская легенда.

Было и быльемъ поросло.

I.

Лѣсъ шумѣлъ . . .

Въ этомъ лѣсу всегда стоялъ шумъ — ровный, протяжный, какъ отголосокъ дальняго звона, спокойный и смутный, какъ тихая пѣсня безъ словъ, какъ неясное воспоминаніе о прошедшемъ. Въ немъ всегда стоялъ шумъ, потому что это былъ старый, дремучій боръ, котораго не касались еще пила и топоръ лѣсного барышника. Высокія столѣтнія сосны съ красными могучими стволами стояли хмурою ратью, плотно сомкнувшись вверху зелеными вершинами. Внизу было тихо, пахло смолой; сквозь пологъ сосновыхъ иголъ, которыми была усыпана почва, пробились яркіе папоротники, пышно раскинувшіеся причудливою бахромой и стоявшіе недвижимо, не шелохнувъ листомъ. Въ сырыхъ уголкахъ тянулись высокими стеблями зеленыя травы; бѣлая кашка склонялась отяжелѣвшими головками, какъ будто въ тихой истомѣ. А вверху, безъ конца и перерыва, тянулъ лѣсной шумъ, точно смутные вздохи стараго бора.

Но теперь эти вздохи становились все глубже, сильнѣе. Я ѣхалъ лѣсною тропой, и, хотя неба мнѣ не было видно, но по тому, какъ хмурился лѣсъ, я чувствовалъ, что надъ нимъ тихо подымается тяжелая туча. Время было не раннее. Между стволовъ кое-гдѣ пробивался еще косой лучъ заката, но въ чащахъ расползались уже мглистыя сумерки. Къ вечеру собиралась гроза.

На сегодня нужно было уже отложить всякую мысль объ охотѣ; въ пору было только добраться передъ грозой до ночлега. Мой конь постукивалъ копытомъ въ обнажившіеся корни, храпѣлъ и настораживалъ уши, прислушиваясь къ гулко щелкающему лѣсному эхо. Онъ самъ прибавлялъ шагу къ знакомой лѣсной сторожкѣ.

Залаяла собака. Между порѣдѣвшими стволами мелькаютъ мазаныя стѣны. Синяя струйка дыма вьется подъ нависшею зеленью; покосившаяся изба съ лохматою крышей пріютилась подъ стѣной красныхъ стволовъ; она какъ будто врастаетъ въ землю, между тѣмъ какъ стройныя и гордыя сосны высоко покачиваютъ надъ ней своими головами. Посрединѣ поляны, плотно примкнувшись другъ къ другу, стоитъ кучка молодыхъ дубовъ.

Здѣсь живутъ обычные спутники моихъ охотничьихъ экскурсій — лѣсники Захаръ и Максимъ. Но теперь, повидимому, обоихъ нѣтъ дома, такъ какъ никто не выходитъ на лай громадной овчарки. Только старый дѣдъ, съ лысою головой и сѣдыми

усами, сидитъ на заваленкѣ и ковыряетъ лапоть. Усы у дѣда болтаются чуть не до пояса, глаза глядятъ тускло, точно дѣдъ все вспоминаетъ что-то и не можетъ припомнить.

— Здравствуй, дѣдъ! Есть кто-нибудь дома?

— Эге! — мотаетъ дѣдъ головой. — Нѣтъ ни Захара, ни Максима да и Мотря побрела въ лѣсъ за коровой . . . Корова куда-то ушла, — пожалуй, медвѣди . . . задрали . . . Вотъ оно какъ, нѣтъ никого!

— Ну, ничего. Я съ тобой посижу, обожду.

— Обожди, обожди, — киваетъ дѣдъ, и пока я подвязываю лошадь къ вѣтви дуба, онъ всматривается въ меня слабыми и мутными глазами. Плохъ ужъ старый дѣдъ: глаза не видятъ и руки трясутся.

— А кто жъ ты такой, хлопче? — спрашиваетъ онъ, когда я подсаживаюсь на заваленкѣ.

Этотъ вопросъ я слышу въ каждое свое посѣщеніе.

— Эге, знаю теперь, знаю, — говоритъ старикъ, принимаясь опять за лапоть. — Вотъ старая голова, какъ рѣшето, ничего не держитъ. Тѣхъ, что давно умерли, помню, — ой, хорошо помню! А новыхъ людей все забываю . . . Зажился на свѣтѣ.

— А давно ли ты, дѣдъ, живешь въ этомъ лѣсу?

— Эге, давненько! Французъ приходилъ въ царскую землю, я уже былъ.

— Много же ты на своемъ вѣку видѣлъ. Чай, есть чего разсказать.

Дѣдъ смотритъ на меня съ удивленіемъ.

— А что же мнѣ видѣть, хлопче? Лѣсъ видѣлъ . . . Шумитъ лѣсъ, шумитъ и днемъ, и ночью, зимою шумитъ и лѣтомъ . . . И я, какъ та деревина, вѣкъ прожилъ въ лѣсу и не замѣтилъ . . . Вотъ и въ могилу пора, а подумаю иной разъ, хлопче, то и самъ смекнуть не могу: жилъ я на свѣтѣ или нѣтъ . . . Эге, вотъ какъ! Можетъ, и вовсе не жилъ . . .

Край темной тучи выдвинулся изъ-за густыхъ вершинъ надъ лѣсною поляной; вѣтви замыкавшихъ поляну сосенъ закачались подъ дуновеніемъ вѣтра, и лѣсной шумъ пронесся глубокимъ усилившимся аккордомъ. Дѣдъ поднялъ голову и прислушался.

— Буря идетъ, — сказалъ онъ черезъ минуту. — Это вотъ я знаю. Ой-ой, зареветъ ночью буря, сосны будетъ ломать, съ корнемъ выворачивать станетъ! . . . Заиграетъ лѣсной хозяинъ . . . — добавилъ онъ тише.

— Почему же ты знаешь, дѣдъ?

— Эге, это я знаю! Хорошо знаю, какъ дерево говоритъ . . . Дерево, хлопче, тоже боится . . . Вотъ осина, проклятое дерево, все что-то лопочетъ, — и вѣтру нѣтъ, а она трясется. Сосна на бору въ ясный день играетъ-звенитъ, а чуть подымется вѣтеръ, она загудитъ и застонетъ. Это еще ничего . . . А ты вотъ слушай теперь. Я хоть глазами плохо вижу, а ухомъ слышу: дубъ зашумѣлъ, дуба̀ уже трогаетъ на полянѣ . . . Это къ бурѣ.

Дѣйствительно, кучка невысокихъ коряжистыхъ дубовъ, стоявшихъ посрединѣ поляны и защищенныхъ высокою стѣною бора, помахивала крѣпкими вѣтвями, и отъ нихъ несся глухой шумъ, легко отличаемый отъ гулкаго звона сосенъ.

— Эге! слышишь ли, хлопче? — говоритъ дѣдъ съ дѣтски-лукавою улыбкой. — Я уже знаю: тронуло этакъ вотъ дуба, значитъ *хозяинъ* ночью пойдетъ, ломать будетъ . . . Да нѣтъ, не сломаетъ! Дубъ — дерево крѣпкое, не подъ силу даже хозяину . . . вотъ какъ!

— Какой же хозяинъ, дѣду? Самъ же ты говоришь: буря ломаетъ.

Дѣдъ закивалъ головой съ лукавымъ видомъ.

— Эге, я жъ это знаю! . . . Нынче говорятъ, такіе люди пошли, что уже ничему и не вѣрятъ. Вотъ оно какъ! А я же его видѣлъ, вотъ какъ тебя теперь, а то еще лучше, потому что теперь у меня глаза старые, а тогда были молодые. Ой-ой, какъ еще видѣли мои глаза смолоду! . . .

— Какъ же ты его видѣлъ, дѣду, скажи-ка?

— А вотъ, все равно, какъ и теперь: сначала сосна застонетъ на бору . . . То звенитъ, а то стонать начнетъ: ò-охъ-хо-ò . . . ò-хо-ò! — и затихнетъ, а потомъ опять, потомъ опять, да чаще, да жалостнѣе. Эге, потому что много ея повалитъ хозяинъ ночью. А потомъ дубъ заговоритъ. А къ вечеру все больше, а ночью и пойдетъ крутить: бѣгаетъ по лѣсу, смѣется и плачетъ, вертится, пляшетъ и все на дубà на-

легаетъ, все хочется вырвать . . . А я разъ осенью и посмотрѣлъ въ оконце; вотъ *ему* это и не по сердцу: подбѣжалъ къ окну, тар-рахъ въ него сосновою корягой; чуть мнѣ все лицо не искалѣчилъ, чтобъ ему было пусто; да я не дуракъ — отскочилъ. Эге, хлопче, вотъ онъ какой сердитый! . . .

— А каковъ же онъ съ виду?

— А съ виду онъ все равно, какъ старая верба, что стоитъ на болотѣ. Очень похожъ! . . . И волосы — какъ сухая омела, что выростаетъ на деревьяхъ, и борода тоже, а носъ — какъ здоровенный сукъ, а морда корявая, точно поросла лишаями . . . Тьфу, какой некрасивый! Не дай же Богъ ни одному крещеному на него походить . . . Ей-Богу! Я-таки въ другой разъ на болотѣ его видѣлъ, близко . . . А хочешь, приходи зимой, такъ и самъ увидишь *его*. Взойди туда, на гору, — лѣсомъ та гора поросла, — и полѣзай на самое высокое дерево, на верхушку. Вотъ оттуда иной день и можно его увидать: идетъ онъ бѣлымъ столбомъ поверхъ лѣсу, такъ и вертится самъ, съ горы въ долину спускается... Побѣжитъ, побѣжитъ, а потомъ въ лѣсу и пропадетъ. Эге! . . . А гдѣ пройдетъ, тамъ слѣдъ бѣлымъ снѣгомъ устилаетъ . . . Не вѣришь старому человѣку, такъ когда-нибудь самъ посмотри.

Разболтался старикъ. Казалось, оживленный и тревожный говоръ лѣса и нависшая въ воздухѣ гроза возбуждали старую кровь. Дѣдъ кивалъ головой, усмѣхался, моргалъ выцвѣтшими глазами.

Но вдругъ будто какая-то тѣнь пробѣжала по высокому, изборожденному морщинами лбу. Онъ толкнулъ меня локтемъ и сказалъ съ таинственнымъ видомъ:

— А знаешь, хлопче, что я тебѣ скажу? . . . Онъ, конечно, лѣсной хозяинъ — мерзенная тварюка, это правда. Крещеному человѣку обидно увидать такую некрасивую харю . . . Ну, только надо о немъ правду сказать: онъ зла не дѣлаетъ . . . Пошутитъ съ человѣкомъ, пошутитъ, а чтобъ лихо дѣлать, этого не бываетъ.

— Да какъ же, дѣдъ, ты самъ говорилъ, что онъ тебя хотѣлъ ударить корягой?

— Эге, хотѣлъ-таки! Такъ то жъ онъ разсердился, зачѣмъ я въ окно на него смотрю, вотъ оно что! А если въ его дѣла носа не совать, такъ и онъ такому человѣку никакой пакости не сдѣлаетъ. Вотъ онъ какой, лѣсовикъ! . . . А знаешь, въ лѣсу отъ людей страшнѣе дѣла бывали . . . Эге, ей-Богу!

Дѣдъ наклонилъ голову и съ минуту сидѣлъ въ молчанiи. Потомъ, когда онъ посмотрѣлъ на меня, въ его глазахъ, сквозь застлавшую ихъ тусклую оболочку, блеснула какъ будто искорка проснувшейся памяти.

— Вотъ я тебѣ разскажу, хлопче, лѣсную нашу бывальщину. Было тутъ разъ, на самомъ этомъ мѣстѣ, давно . . . Помню я . . . ровно сонъ, а какъ зашумитъ лѣсъ погромче, то и все вспоминаю . . . Хочешь, разскажу тебѣ, а?

— Хочу, хочу, дѣду! Разсказывай!

— Такъ и разскажу же, эге! Слушай вотъ!

II.

У меня, знаешь, батько съ матерью давно померли, я еще малымъ хлопчикомъ былъ . . . Покинули они меня на свѣтѣ одного. Вотъ оно какъ со мною было, эге! Вотъ громада и думаетъ: «что же намъ теперь съ этимъ хлопчикомъ дѣлать?» Ну, и панъ тоже себѣ думаетъ . . . И пришелъ на тотъ разъ изъ лѣсу лѣсникъ Романъ, да и говоритъ громадѣ: «Дайте мнѣ этого хлопца въ сторожку, я его буду кормить . . . Мнѣ въ лѣсу веселѣе, и ему хлѣбъ . . .» Вотъ онъ какъ говоритъ, а громада ему отвѣчаетъ: «бери!» Онъ и взялъ. Такъ я съ тѣхъ самыхъ поръ въ лѣсу и остался.

Тутъ меня Романъ и выкормилъ. Ото жъ человѣкъ былъ какой страшный, не дай Господи! . . . Росту большого, глаза черные, и душа у него темная изъ глазъ глядѣла, потому что всю жизнь этотъ человѣкъ въ лѣсу одинъ жилъ: медвѣдь ему, люди говорили, все равно, что братъ, а волкъ — племянникъ. Всякаго звѣря онъ зналъ и не боялся, а отъ людей сторонился и не глядѣлъ даже на нихъ . . . Вотъ онъ какой былъ — ей-Богу, правда! Бывало, какъ онъ на меня глянетъ, такъ у меня по спинѣ будто кошка хвостомъ поведетъ . . . Ну, а человѣкъ былъ все-таки добрый, кормилъ меня, нечего сказать, хорошо: каша, бывало, гречневая всегда у него съ

саломъ, а когда утку убьетъ, такъ и утка. Что правда, то уже правда, кормилъ-таки.

Такъ мы и жили вдвоемъ. Романъ въ лѣсъ уйдетъ, а меня въ сторожкѣ запретъ, чтобы звѣрюка не съѣла. А послѣ дали ему «жинку» Оксану.

Панъ ему жинку далъ. Призвалъ его на село, да и говоритъ: «Вотъ что, говоритъ, Ромасю, женись!» Говоритъ пану Романъ сначала: «А на какого же мнѣ біса жинка? Что мнѣ въ лѣсу дѣлать съ бабой, когда у меня ужъ и безъ того хлопецъ есть? Не хочу я, говоритъ, жениться!» Не привыкъ онъ съ дѣвками возиться, вотъ что! Ну, да и панъ тоже хитрый былъ . . . Какъ вспомню про этого пана, хлопче то и подумаю себѣ, что теперь уже такихъ нѣту, — нѣту такихъ пановъ больше, — вывелись . . . Вотъ хоть бы и тебя взять: тоже, говорятъ, и ты панскаго роду . . . Можетъ оно и правда, а таки нѣтъ въ тебѣ этого . . . настоящаго . . . Такъ себѣ, мизерный хлопчина, больше ничего.

Ну, а тотъ настоящій былъ, изъ прежнихъ . . . Вотъ, скажу тебѣ, такое на свѣтѣ водится, что сотни людей одного человѣка боятся, да еще какъ! . . . Посмотри ты, хлопче, на ястреба и на цыпленка: оба изъ яйца вылупились, да ястребъ сейчасъ вверхъ норовитъ, эге! Какъ крикнетъ въ небѣ, такъ сейчасъ не то что цыплята — и старые пѣтухи забѣгаютъ . . . Вотъ же ястребъ — панская птица, а курица — простая мужичка . . .

Вотъ, помню, я малымъ хлопчикомъ былъ;

везутъ мужики изъ лѣсу толстыя бревна, человѣкъ можетъ быть тридцать. А панъ одинъ на своемъ коникѣ ѣдетъ, да усы крутитъ. Конекъ подъ нимъ играетъ, а онъ кругомъ смотритъ. Ой-ой! завидятъ мужики пана, то-то забѣгаютъ, лошадей въ снѣгъ сворачиваютъ, сами шапки снимаютъ. Послѣ сколько бьются, изъ снѣга бревна вывозятъ, а панъ себѣ скачетъ, — вотъ ему, видишь ты, и одному на дорогѣ тѣсно! Поведетъ панъ бровью — уже мужики боятся, засмѣется — и всѣмъ весело, а нахмурится — всѣ запечалятся. А чтобы кто пану могъ перечить, того, почитай, и не бывало.

Ну, а Романъ, извѣстно, въ лѣсу выросъ, обращенія не зналъ, и панъ на него не очень сердился.

— Хочу, — говоритъ панъ, — чтобы ты женился, а зачѣмъ, про то я самъ знаю. Бери Оксану.

— Не хочу я, — отвѣчалъ Романъ, — не надо мнѣ ее, хоть бы и Оксану! Пускай на ней чортъ женится, а не я . . . Вотъ какъ!

Велѣлъ панъ принести канчуки, растянули Романа, панъ его спрашиваетъ:

— Будешь, Романъ, жениться?

— Нѣтъ, говоритъ, — не буду.

— Сыпьте жъ ему, — говоритъ панъ, — въ мотню[1]), сколько влѣзетъ.

---

[1]) Хохлы носятъ холщевые штаны, вродѣ мѣшка, раздвоеннаго только внизу. Этотъ-то мѣшокъ и называется мотнею»,

Засыпали ему таки не мало; Романъ на что ужъ здоровъ былъ, а все жъ ему надоѣло:

— Бросьте ужъ, — говоритъ, — будетъ-таки! Пускай же ее лучше всѣ черти возьмутъ, чѣмъ мнѣ за бабу столько муки принимать. Давайте ее сюда, буду жениться!

Жилъ на дворѣ у пана доѣзжачій Опанасъ Швидкій. Пріѣхалъ онъ на ту пору съ поля, какъ Романа къ женитьбѣ заохачивали. Услышалъ онъ про Романову бѣду — бухъ пану въ ноги. Таки упалъ въ ноги, цѣлуетъ . . .

— Чѣмъ, — говоритъ, — вамъ, милостивый панъ, человѣка мордовать, лучше я на Оксанѣ женюсь, слова не скажу . . .

Эге, самъ-таки захотѣлъ жениться на ней. Вотъ какой человѣкъ былъ, ей-Богу!

Вотъ Романъ было обрадовался, повеселѣлъ. Всталъ на ноги, завязалъ мотню и говоритъ:

— Вотъ, — говоритъ, — хорошо. Только что б тебѣ, человѣче, пораньше немного пріѣхать? Да и панъ тоже — всегда вотъ такъ! . . . Не разспросить же было толкомъ, можетъ, кто охотой женится. Сейчасъ схватили человѣка и давай ему сыпать! Развѣ, говоритъ, это по-христіански такъ дѣлать? Тьфу! . . .

Эге, онъ порой и пану спуску не давалъ. Вотъ какой былъ Романъ! Когда ужъ осердится, то къ нему, бывало, не подступайся, хотя бы и панъ. Ну, а панъ былъ хитрый! У него, видишь, другое на

умѣ было. Велѣлъ опять Романа растянуть на травѣ.

— Я, — говоритъ, — тебѣ, дураку, счастья хочу, а ты носъ воротишь. Теперь ты одинъ, какъ медвѣдь въ берлогѣ, и заѣхать къ тебѣ не весело . . . Сыпьте жъ ему, дураку, пока не скажетъ: довольно!... А ты, Опанасъ, ступай себѣ къ чортовой матери. Тебя, говоритъ, къ обѣду не звали, такъ самъ за столъ не садись, а то видишь, какое Роману угощенье? Тебѣ какъ бы того же не было.

А Романъ ужъ и не на шутку осердился, эге! Его дуютъ-таки хорошо, потому что прежніе люди, знаешь, умѣли славно канчуками шкуру спускать, а онъ лежитъ себѣ и не говоритъ: довольно! Долго терпѣлъ, а все-таки послѣ плюнулъ:

— Не дождетъ ея батько, чтобъ изъ-за бабы христіанину вотъ такъ сыпали, да еще и не считали. Довольно! Чтобъ вамъ руки поотсыхали, бісова дворня! Научилъ же васъ чортъ канчуками работать! Да я жъ вамъ не снопъ на току, чтобъ меня вотъ такъ молотили. Коли такъ, такъ вотъ же, и женюсь.

А панъ себѣ смѣется.

— Вотъ, — говоритъ, — и хорошо! Теперь на свадьбѣ хоть сидѣть тебѣ и нельзя, за то плясать будешь больше . . .

Веселый былъ панъ, ей-Богу, веселый, эге? Да только послѣ скверное съ нимъ случилось, не дай Богъ ни одному крещеному. Право, никому такого

не пожелаю. Пожалуй, даже и жиду не слѣдуетъ такого желать. Вотъ я что думаю . . .

Вотъ такъ-то Романа и женили. Привезъ онъ молодую жинку въ сторожку; сначала все ругалъ да попрекалъ своими канчуками.

— И сама ты, — говоритъ, — того не стоишь, сколько изъ-за тебя человѣка мордовали.

Придетъ, бывало, изъ лѣсу и сейчасъ станетъ ее изъ избы гнать:

— Ступай себѣ! Не надо мнѣ бабы въ сторожкѣ! Чтобъ и духу твоего не было! Не люблю, — говоритъ, — когда у меня баба въ избѣ спитъ. Духъ, — говоритъ, — нехорошій.

Эге!

Ну, а послѣ ничего, притерпѣлся. Оксана, бывало, избу вымететъ и вымажетъ чистенько, посуду разставитъ; блеститъ все, даже сердцу весело. Романъ видитъ: хорошая баба, — помаленьку и привыкъ. Да и не только привыкъ, хлопче, а сталъ ее любить, ей-Богу, не лгу! Вотъ какое дѣло съ Романомъ вышло. Какъ приглядѣлся хорошо къ бабѣ, потомъ и говоритъ:

— Вотъ спасибо пану, добру меня научилъ. Да и я жъ таки не умный былъ человѣкъ: сколько канчуковъ принялъ, а оно, какъ теперь вижу, ничего и дурного нѣтъ. Еще даже хорошо. Вотъ оно что!

Вотъ прошло сколько-то времени, я и не знаю,

сколько. Слегла Оксана на лавку, стала стонать Къ вечеру занедужилось, а на утро проснулся я, слышу: кто-то тонкимъ голосомъ «квилйтъ»[1]). Эге! — думаю я себѣ, — это жъ, видно, «дитына» родилась. А оно вправду такъ и было.

Не долго пожила дитына на бѣломъ свѣтѣ. Только и жила, что отъ утра до вечера. Вечеромъ и пищать перестала . . . Заплакала Оксана, а Романъ и говоритъ:

— Вотъ и нѣту дитыны, а когда ея нѣту, то незачѣмъ теперь и попа звать. Похоронимъ подъ сосною.

Вотъ какъ говоритъ Романъ, да не то, что говоритъ, а такъ какъ разъ и сдѣлалъ: вырылъ могилку и похоронилъ. Вонъ тамъ старый пень стоитъ, громомъ его спалило . . . Такъ то жъ и есть та самая сосна, гдѣ Романъ дитыну зарылъ. Знаешь, хлопче, вотъ же я тебѣ скажу: и до сихъ поръ, какъ солнце сядетъ и звѣзда-зорька надъ лѣсомъ станетъ, летаетъ какая-то пташка, да и кричитъ. Охъ, и жалобно квилйтъ пташйна, ажъ сердцу больно! Такъ это и есть некрещеная душа, — креста себѣ проситъ. Кто знающій человѣкъ, по книгамъ учился, то, говорятъ, можетъ ей крестъ дать и не станетъ она больше летать . . . Да мы вотъ тутъ въ лѣсу живемъ, ничего не знаемъ. Она летаетъ, она проситъ, а мы только и говоримъ: «геть-геть, бѣдная

[1]) Квилитъ — плачетъ, жалобно пищитъ.

душа, ничего мы не можемъ сдѣлать!» Вотъ заплачетъ и улетитъ, а потомъ и опять прилетаетъ. Эхъ, хлопче, жалко бѣдную душу!

Вотъ выздоровѣла Оксана, все на могилку ходила. Сядетъ на могилкѣ и плачетъ, да такъ громко, что по всему лѣсу, бывало, голосъ ея ходитъ. Это она такъ свою дитѝну жалѣла, а Романъ не жалѣлъ дитѝну, а Оксану жалѣлъ. Придетъ, бывало, изъ лѣсу, станетъ около Оксаны и говоритъ:

— Молчи ужъ, глупая ты баба! Вотъ было бы о чемъ плакать! Померла одна дитѝна, то, можетъ, другая будетъ. Да еще, пожалуй, и лучшая, эге! Потому что та еще, можетъ, и не моя была, я же таки и не знаю. Люди говорятъ . . . А это будетъ моя.

Вотъ уже Оксана и не любила, когда онъ такъ говорилъ. Перестанетъ, бывало, плакать и начнетъ его нехорошими словами «лаять». Ну, Романъ на нее не сердился.

— Да и что же ты, — спрашиваетъ, — лаешься? Я же ничего такого не сказалъ, а только сказалъ, что не знаю. Потому и не знаю, что прежде ты не моя была и жила не въ лѣсу, а на свѣтѣ, промежду людей. Такъ какъ же мнѣ знать? Теперь вотъ ты въ лѣсу живешь, вотъ и хорошо. А таки говорила мнѣ баба Ѳедосья, когда я за нею на село ходилъ: «Что-то у тебя, Романъ, скоро дитына поспѣла!» А я говорю бабѣ: «Какъ же мнѣ-таки знать, скоро ли, или не скоро?» . . . Ну, а ты все же брось голосить

а то я осержусь, то еще, пожалуй, какъ бы тебя и не побилъ.

Вотъ Оксана полаетъ, полаетъ его, да и перестанетъ.

Она его, бывало, и поругаетъ, и по спинѣ ударитъ, а какъ станетъ Романъ самъ сердиться, она и притихнетъ, — боялась. Приласкаетъ его, обойметъ, поцѣлуетъ и въ очи заглянетъ . . . Вотъ мой Романъ и угомонится. Потому . . . видишь ли, хлопче . . . Ты, должно быть, не знаешь, а я, старикъ, хотя самъ не женивался, а все-таки видалъ на своемъ вѣку: молодая баба дюже сладко цѣлуется, какого хочешь сердитаго мужика можетъ она обойти. Ой-ой . . . Я же таки знаю, каковы эти бабы. А Оксана была гладкая такая молодица, что теперь я уже что-то такихъ больше не вижу. Теперь, хлопче, скажу тебѣ, и бабы не такія, какъ прежде.

Вотъ разъ въ лѣсу рожокъ затрубилъ: тра-та, тара-тара-та-та-та! . . . Такъ и разливается по лѣсу, весело да звонко. Я тогда малый хлопчикъ былъ и не зналъ, что это такое; вижу: птицы съ гнѣздъ подымаются, крыломъ машутъ, кричатъ, а гдѣ и заяцъ пригнулъ уши на спину и бѣжитъ, что есть духу. Вотъ я и думаю: можетъ, это звѣрь какой невиданный такъ хорошо кричитъ. А то же не звѣрь, а панъ себѣ на коникѣ лѣсомъ ѣдетъ, да въ рожокъ трубитъ; за паномъ доѣзжачіе верхомъ и собакъ на сворахъ ведутъ. А всѣхъ доѣзжачихъ красивѣе Опанасъ Швидкій, за паномъ въ синемъ

казакинѣ гарцуетъ; шапка на Опанасѣ съ золотымъ верхомъ, конь подъ нимъ играетъ, рушница за плечами блеститъ, и бандура на ремнѣ черезъ плечо повѣшена. Любилъ панъ Опанаса, потому что Опанасъ хорошо на бандурѣ игралъ и пѣсни былъ мастеръ пѣть. Ухъ, и красивый же былъ парубокъ этотъ Опанасъ, страхъ красивый! Куда было пану съ Опанасомъ равняться: панъ уже и лысый былъ, и носъ у пана красный, и глаза, хоть веселые, а все не такіе, какъ у Опанаса. Опанасъ, бывало, какъ глянетъ на меня, — мнѣ, малому хлопчику, и то смѣяться хочется, а я же не дѣвка. Говорили, что у Опанаса отцы и дѣды запорожскіе козаки были, въ Сѣчи козаковали, а тамъ народъ былъ все гладкій, да красивый, да проворный. Да ты самъ, хлопче, подумай: на конѣ ли со «списой»[1]) по полю птицей летать, или топоромъ дерево рубить, это жъ не одно дѣло . . .

Вотъ я выбѣжалъ изъ хаты, смотрю: подъѣхалъ панъ, остановился и доѣзжачіе стали; Романъ изъ избы вышелъ, подержалъ пану стремя: ступилъ панъ на землю. Романъ ему поклонился.

— Здорово! — говоритъ панъ Роману.

— Эге, — отвѣчаетъ Романъ, — да я жъ, спасибо, здоровъ, чего мнѣ дѣлается? А вы какъ?

Не умѣлъ, видишь ты, Романъ пану какъ слѣдуетъ отвѣтить. Дворня вся отъ его словъ засмѣялась и панъ тоже.

[1]) «Списа» — копье.

— Ну, и слава Богу, что ты здоровъ, — говоритъ панъ. — А гдѣ жъ твоя жинка?

— Да гдѣ жъ жинкѣ быть? Жинка, извѣстно, въ хатѣ . . .

— Ну, мы и въ хату войдемъ, — говоритъ панъ, — а вы, хлопцы, пока на травѣ коверъ постелите, да приготовьте намъ все, чтобы было чѣмъ молодыхъ на первый разъ поздравить.

Вотъ и пошли въ хату: панъ, и Опанасъ, и Романъ безъ шапки за нимъ, да еще Богданъ — старшій доѣзжачій, вѣрный панскій слуга. Вотъ ужъ и слугъ такихъ теперь тоже на свѣтѣ нѣту: старый былъ человѣкъ, съ дворней строгій, а передъ паномъ какъ та собака. Никого у Богдана на свѣтѣ не было, кромѣ пана. Говорятъ, какъ померли у Богдана батько съ матерью, попросился онъ у стараго пана на тягло и захотѣлъ жениться. А старый панъ не позволилъ, приставилъ его къ своему паничу: тутъ тебѣ, говоритъ, и батько, и мать, и жинка. Вотъ выносилъ Богданычъ панича и выходилъ, и на коня выучилъ садиться, и изъ ружья стрѣлять. А выросъ паничъ, самъ сталъ пановать, старый Богданъ все за нимъ слѣдомъ ходилъ, какъ собака. Охъ, скажу тебѣ правду: много того Богдана люди проклинали, много на него людскихъ слезъ пало . . . все изъ-за пана. По одному панскому слову Богданъ могъ бы, пожалуй, родного отца въ клочки разорвать . . .

А я, малый хлопчикъ, тоже за ними въ избу

побѣжалъ: извѣстное дѣло, любопытно. Куда панъ повернулся, туда и я за нимъ.

Гляжу, стоитъ панъ посередь избы, усы гладитъ, смѣется. Романъ тутъ же топчется, шапку въ рукахъ мнетъ, а Опанасъ плечомъ объ стѣнку уперся, стоитъ себѣ, бѣдняга, какъ тотъ молодой дубокъ въ непогодку. Нахмурился, невеселъ . . .

И вотъ они трое повернулись къ Оксанѣ. Одинъ старый Богданъ сѣлъ въ углу на лавкѣ, свѣсилъ чуприну, сидитъ, пока панъ чего не прикажетъ. А Оксана въ углу у печки стала, глаза опустила, сама раскраснѣлась вся, какъ тотъ макъ середь ячменю. Охъ, видно, чуяла небо̀га, что изъ-за нея лихо будетъ. Вотъ тоже скажу тебѣ, хлопче: уже если три человѣка на одну бабу смотрятъ, то отъ этого никогда добра не бываетъ — непремѣнно до чуба дѣло дойдетъ, коли не хуже. Я жъ это знаю, потому что самъ видѣлъ.

— Ну, что, Рома̀сю, — смѣется панъ, — хорошую ли я тебѣ жинку высваталъ?

— А что жъ? — Романъ отвѣчаетъ. — Баба, какъ баба, ничего!

Повелъ тутъ плечомъ Опанасъ, поднялъ глаза на Оксану и говоритъ про себя:

— Да, — говоритъ, — баба! Хоть бы и не такому дурню досталась.

Романъ услыхалъ это слово, повернулся къ Опанасу и говоритъ ему:

— А чѣмъ бы это я, панъ Опанасъ, вамъ за дурня показался? Эге, скажите-ка!

— А тѣмъ, — говоритъ Опанасъ, — что не сумѣешь жинку свою уберечь, тѣмъ и дурень . . .

Вотъ какое слово сказалъ ему Опанасъ! Панъ даже ногою топнулъ, Богданъ покачалъ головою, а Романъ подумалъ съ минуту, потомъ поднялъ голову и посмотрѣлъ на пана.

— А что жъ мнѣ ее беречь? — говоритъ Опанасу, а самъ все на пана смотритъ. — Здѣсь, кромѣ звѣря, никакого чорта и нѣту, вотъ развѣ милостивый панъ когда завернетъ. Отъ кого же мнѣ жинку беречь? Смотри ты, вражій козаче, ты меня не дразни, а то я, пожалуй, и за чуприну схвачу.

Пожалуй таки и дошло бы у нихъ дѣло до потасовки, да панъ вмѣшался: топнулъ ногой, — они и замолчали.

— Тише вы, — говоритъ, — бісовы дѣти! Мы же сюда не для драки пріѣхали. Надо молодыхъ поздравлять, а потомъ, къ вечеру, на болото охотиться. Айда за мной!

Повернулся панъ и пошелъ изъ избы; а подъ деревомъ доѣзжачіе ужъ и закуску сготовили. Пошелъ за паномъ Богданъ, а Опанасъ остановилъ Романа въ сѣняхъ.

— Не сердись ты на меня, бра̀тику, — говоритъ козакъ. — Послушай, что тебѣ Опанасъ скажетъ: видѣлъ ты, какъ я у пана въ ногахъ валялся, сапоги у него цѣловалъ, чтобъ онъ Оксану за меня отдалъ?

Ну, Богъ съ тобой, человѣче . . . Тебя попъ окрутилъ, такая, видно, судьба! Такъ не стерпитъ же мое сердце, чтобъ лютый ворогъ опять и надъ ней, и надъ тобой потѣшался. Гей-гей! Никто того не знаетъ, что у меня на душѣ . . . Лучше же я и его, и ее изъ рушницы вмѣсто постели уложу въ сырую землю . . .

Посмотрѣлъ Романъ на козака и спрашиваетъ:

— А ты, козаче, часомъ «съ глузду не съѣхалъ»?[1])

Не слыхалъ я, что Опанасъ на это сталъ Роману тихо въ сѣняхъ говорить, только слышалъ, какъ Романъ его по плечу хлопнулъ.

— Охъ, Опанасъ, Опанасъ! Вотъ какой на свѣтѣ народъ злой да хитрый! А я же ничего того, живучи въ лѣсу, и не зналъ. Эге, пане, пане, лихо ты на свою голову затѣялъ! . . .

— Ну, — говоритъ ему Опанасъ, — ступай теперь и не показывай виду, пуще всего передъ Богданомъ. Не умный ты человѣкъ, а эта панская собака хитра. Смотри же: панской горѣлки много не пей, а если отправитъ тебя съ доѣзжачими на болото, а самъ захочетъ остаться, веди доѣзжачихъ до стараго дуба и покажи имъ объѣздную дорогу, а самъ, скажи, прямикомъ пойдешь по лѣсу . . . Да поскорѣе сюда возвращайся.

— Добре, — говоритъ Романъ. — Соберусь на охоту, рушницу не дробью заряжу и не «леткой» на птицу, а доброю пулей на медвѣдя . . .

[1]) «Съ глузду съѣхать» — сойти съ ума.

Вотъ и они вышли. А ужъ панъ сидитъ на коврѣ, велѣлъ подать фляжку и чарку, наливаетъ въ чарку горѣлку и потчиваетъ Романа. Эге, хороша была у пана и фляжка, и чарка, а горѣлка еще лучше. Чарочку выпьешь — душа радуется, другую выпьешь — сердце скачетъ въ груди, а если человѣкъ непривычный, то съ третьей чарки и подъ лавкой валяется, коли баба на лавку не уложитъ.

Эге, говорю тебѣ, хитрый былъ панъ! Хотѣлъ Романа напоить своею горѣлкой до-пьяна, а еще такой и горѣлки не бывало, чтобы Романа свалила. Пьетъ онъ изъ панскихъ рукъ чарку, пьетъ и другую, и третью выпилъ, а у самого только глаза, какъ у волка, загораются, да усомъ чернымъ поводитъ. Панъ даже осердился.

— Вотъ же вражій сынъ, какъ здорово горѣлку хлещетъ, а самъ и не моргнетъ глазомъ! Другой бы ужъ давно заплакалъ, а онъ, глядите, добрые люди, еще усмѣхается . . .

Зналъ же вражій панъ хорошо, что если ужъ человѣкъ отъ горѣлки заплакалъ, то скоро и совсѣмъ чуприну на столъ свѣситъ. Да на тотъ разъ не на такого напалъ.

— А съ чего жъ мнѣ, — Романъ ему отвѣчаетъ, — плакать? Даже, пожалуй, это нехорошо бы было. Пріѣхалъ ко мнѣ милостивый панъ поздравлять, а я бы таки и началъ ревѣть, какъ баба. Слава Богу, не отъ чего мнѣ еще плакать, пускай лучше мои вороги плачутъ . . .

— Значитъ, — спрашиваетъ панъ, — ты доволенъ?

— Эге! А чѣмъ мнѣ быть недовольнымъ?

— А помнишь, какъ мы тебя канчуками сватали?

— Какъ-таки не помнить! Ото жъ и говорю, что не умный человѣкъ былъ, не зналъ, что горько, что сладко. Канчукъ горекъ, а я его лучше бабы любилъ. Вотъ спасибо вамъ, милостивый пане, что научили меня, дурня, медъ ѣсть.

— Ладно, ладно, — панъ ему говоритъ. — За то и ты мнѣ услужи: вотъ пойдешь съ доѣзжачими на болото, настрѣляй побольше птицъ, да непремѣнно глухого тетерева достань.

— А когда жъ это панъ насъ на болото посылаетъ? — спрашиваетъ Романъ.

— Да вотъ выпьемъ еще. Опанасъ намъ пѣсню споетъ, да и съ Богомъ.

Посмотрѣлъ Романъ на него и говоритъ пану:

— Вотъ ужъ это и трудно: пора не ранняя, до болота далеко, а еще, вдобавокъ, и вѣтеръ по лѣсу шумитъ, къ ночи будетъ буря. Какъ же теперь такую сторожкую птицу убить?

А ужъ панъ захмелѣлъ, да во хмелю былъ крѣпко сердитый. Услышалъ, какъ дворня промежъ себя шептаться стала, говорятъ, что, молъ, «Романова правда, загудетъ скоро буря», — и осердился. Стукнулъ чаркой, повелъ глазами, — всѣ и стихли.

Одинъ Опанасъ не испугался; вышелъ онъ, по панскому слову, съ бандурой пѣсни пѣть, сталъ

бандуру настраивать, самъ посмотрѣлъ сбоку на пана и говоритъ ему:

— Опомнись, милостивый пане! Гдѣ же это видано, чтобы къ ночи, да еще въ бурю, людей по темному лѣсу за птицей гонять?

Вотъ онъ какой былъ смѣлый! Другіе, извѣстное дѣло, панскіе «крѣпаки», боятся, а онъ — вольный человѣкъ, козацкаго рода. Привелъ его небольшимъ хлопцемъ старый козакъ-бандуристъ съ Украйны. Тамъ, хлопче, люди что-то нашумѣли въ городѣ Умани. Вотъ старому козаку выкололи очи, обрѣзали уши и пустили его такого по свѣту. Ходилъ онъ, ходилъ послѣ того по городамъ и селамъ и забрелъ въ нашу сторону съ поводыремъ, хлопчикомъ Опанасомъ. Старый панъ взялъ его къ себѣ, потому что любилъ хорошія пѣсни. Вотъ старикъ умеръ, — Опанасъ при дворѣ и выросъ. Любилъ его новый панъ тоже и терпѣлъ отъ него порой такое слово, за которое другому спустили бы три шкуры.

Такъ и теперь: осердился было сначала, думали, что онъ козака ударитъ, а послѣ говоритъ Опанасу:

— Ой, Опанасъ, Опанасъ. Умный ты хлопецъ, а того, видно, не знаешь, что межъ дверей не надо носа совать, чтобы какъ-нибудь не захлопнули . . .

Вотъ онъ какую загадалъ загадку! А козакъ таки сразу и понялъ. И отвѣтилъ козакъ пану пѣсней. Ой, кабы и панъ понялъ козацкую пѣсню, то, можетъ, бы его пани надъ нимъ не разливалась слезами

— Спасибо, пане, за науку, — сказалъ Опанасъ, — вотъ же я тебѣ за то спою, а ты слушай.

И ударилъ по струнамъ бандуры.

Потомъ поднялъ голову, посмотрѣлъ на небо, какъ въ небѣ орелъ ширяетъ, какъ вѣтеръ темныя тучи гоняетъ. Наставилъ ухо, послушалъ, какъ высокія сосны шумятъ . . .

И опять ударилъ по струнамъ бандуры.

Эй, хлопче, не довелось тебѣ слышать, какъ игралъ Опанасъ Швидкій, а теперь ужъ и не услышишь! Вотъ же и не хитрая штука бандура, а какъ она у знающаго человѣка хорошо говоритъ. Бывало, пробѣжитъ по ней рукою, она ему все и скажетъ: какъ темный боръ въ непогоду шумитъ, и какъ вѣтеръ звенитъ въ пустой степи по бурьяну, и какъ сухая травинка шепчетъ на высокой козацкой могилѣ.

Нѣтъ, хлопче, не услыхать уже вамъ настоящую игру! Ѣздятъ теперь сюда всякіе люди, такіе, что не въ одномъ Полѣсьѣ бывали, но и въ другихъ мѣстахъ, и по всей Украйнѣ: и въ Чигиринѣ, и въ Полтавѣ, и въ Кіевѣ и въ Черкасахъ. Говорятъ, вывелись ужъ бандуристы, не слышно ихъ уже на ярмаркахъ и на базарахъ. У меня еще на стѣнѣ въ хатѣ старая бандура виситъ. Выучилъ меня играть на ней Опанасъ, а у меня никто игры не перенялъ. Когда я умру — а ужъ это скоро, — такъ, пожалуй, и нигдѣ уже на широкомъ свѣтѣ не слышно будетъ звона бандуры. Вотъ оно что!

И запѣлъ Опанасъ тихимъ голосомъ пѣсню. Голосъ былъ у Опанаса не громкій, да «сумный»[1]), — такъ, бывало, въ сердце и льется А пѣсню, хлопче, козакъ, видно, самъ для пана придумалъ. Не слыхалъ я ее никогда больше, и когда послѣ, бывало, къ Опанасу пристану, чтобы спѣлъ, онъ все не соглашался.

— Для кого, — говоритъ, — та пѣсня пѣлась, того уже нѣту на свѣтѣ.

Въ той пѣснѣ козакъ пану всю правду сказалъ, что съ паномъ будетъ, и панъ плачетъ, даже слезы у пана текутъ по усамъ, а все же ни слова, видно, изъ пѣсни не понялъ.

Охъ, не помню я эту пѣсню, помню только немного.

Пѣлъ козакъ про пана, про Ивана:

Ой пане, ой Иване! . . .
Умный панъ, много знаетъ . . .
Знаетъ, что ястребъ въ небѣ летаетъ, воронъ побиваетъ . . .
Ой пане, ой Иване! . . .
А того жъ панъ не знаетъ,
Какъ на свѣтѣ бываетъ, —
Что у гнѣзда и ворона ястреба побиваетъ . . .

Вотъ же, хлопче, будто и теперь я эту пѣсню слышу и тѣхъ людей вижу: стоитъ козакъ съ бандурой, панъ сидитъ на коврѣ, голову свѣсилъ и

---

[1]) Украинское слово *сумный* совмѣщаетъ въ себѣ понятія, передаваемыя по-русски словами: грустный и задумчивый.

плачетъ; дворня кругомъ столпилась, поталкиваютъ одинъ другого локтями; старый Богданъ головой качаетъ . . . А лѣсъ, какъ теперь, шумитъ, и тихо да сумно звенитъ бандура, а козакъ поетъ, какъ пани плачетъ надъ паномъ, надъ Иваномъ:

Плачетъ пани, плачетъ,
А надъ паномъ, надъ Иваномъ черный воронъ крячетъ.

Охъ, не понялъ панъ пѣсни, вытеръ слезы и говоритъ:

— Ну, собирайся, Романъ! Хлопцы, садитесь на коней! И ты, Опанасъ, поѣзжай съ ними, — будетъ ужъ мнѣ твоихъ пѣсенъ слушать! . . . Хорошая пѣсня, да только никогда того, что̀ въ ней поется, на свѣтѣ не бываетъ.

А у козака отъ пѣсни размякло сердце, затуманились очи.

— Охъ, пане, пане, — говоритъ Опанасъ, — у насъ говорятъ старые люди: въ сказкѣ правда и въ пѣснѣ правда. Только въ сказкѣ правда — какъ желѣзо: долго по свѣту изъ рукъ въ руки ходило, заржавѣло . . . А въ пѣснѣ правда — какъ золото, что никогда его ржа не ѣстъ . . . Вотъ, какъ говорятъ старые люди!

Махнулъ панъ рукой.

— Ну, можетъ, такъ въ вашей сторонѣ, а у насъ не такъ . . . Ступай, ступай, Опанасъ, — надоѣло мнѣ тебя слушать.

Постоялъ козакъ съ минуту, а потомъ вдругъ упалъ передъ паномъ на землю:

— Послушай меня, пане! Садись на коня, поѣзжай къ своей пани: у меня сердце недоброе чуетъ.

Вотъ ужъ тутъ панъ осердился, толкнулъ козака, какъ собаку, ногой.

— Иди ты отъ меня прочь! Ты, видно, не козакъ, а баба! Иди ты отъ меня, а то какъ бы съ тобой не было худо . . . А вы что стали, хамово племя? Иль я не панъ вамъ больше? Вотъ я вамъ такое покажу, чего и ваши батьки отъ моихъ батькòвъ не видали! . . .

Всталъ Опанасъ на ноги, какъ темная туча, съ Романомъ переглянулся. А Романъ въ сторонѣ стоитъ, на рушницу облокотился, какъ ни въ чемъ не бывало.

Ударилъ козакъ бандурой объ дерево, — бандура въ дребезги разлетѣлась, только стонъ пошелъ отъ бандуры по лѣсу.

— А пускай же, — говоритъ, — черти на томъ свѣтѣ учатъ такого человѣка, который разумную ра̀ду не слушаетъ . . . Тебѣ, пане, видно, вѣрнаго слуги не надо.

Не успѣлъ панъ отвѣтить, вскочилъ Опанасъ въ сѣдло и поѣхалъ. Доѣзжачіе тоже на коней сѣли. Романъ вскинулъ рушницу на плечи и пошелъ себѣ, только, проходя мимо сторожки, крикнулъ Оксанѣ:

— Уложи хлопчика, Оксана! Пора ему спать. Да и пану сготовь постелю.

Вотъ скоро и ушли всѣ въ лѣсъ вонъ по той дорогѣ; и панъ въ хату ушелъ, только панскій конь

стоитъ себѣ, подъ деревомъ привязанъ. А ужъ и темнѣть начало, по лѣсу шумъ идетъ и дождикъ накрапываетъ, вотъ-таки совсѣмъ, какъ теперь . . . Уложила меня Оксана на сѣновалѣ, перекрестила на ночь . . . Слышу я, моя Оксана плачетъ.

Охъ, ничего-то я тогда, малый хлопчикъ, не понималъ, что кругомъ меня творится! Свернулся на сѣнѣ, послушалъ, какъ буря въ лѣсу пѣсню заводитъ, и сталъ засыпать.

Эге! Вдругъ слышу, кто-то около сторожки ходитъ . . . подошелъ къ дереву, панскаго коня отвязалъ. Захрапѣлъ конь, ударилъ копытомъ; какъ пустится въ лѣсъ, скоро и топотъ затихъ . . . Потомъ слышу, опять кто-то по дорогѣ скачетъ, уже къ сторожкѣ. Подскакалъ вплоть, соскочилъ съ сѣдла на землю и прямо къ окну:

— Пане, пане! — кричитъ голосомъ стараго Богдана. — Ой, пане, отвори скорѣй! Вражій козакъ лихо задумалъ, видно, — твоего коня въ лѣсъ отпустилъ.

Не успѣлъ старикъ договорить, кто-то его сзади схватилъ. Испугался я, слышу — что-то упало . . .

Отворилъ панъ двери, съ рушницей выскочилъ, а ужъ въ сѣняхъ Романъ его захватилъ, да прямо за чубъ, да объ землю . . .

Вотъ, видитъ панъ, что ему лихо, и говоритъ:

— Ой, отпусти, Ромасю! Такъ-то ты мое добро помнишь?

А Романъ ему отвѣчаетъ:

— Помню я, вражій пане, твое добро и до меня, и до моей жинки. Вотъ же я тебѣ теперь за добро заплачу . . .

А панъ говоритъ опять:

— Заступись, Опанасъ, мой вѣрный слуга! Я жъ тебя любилъ, какъ родного сына.

А Опанасъ ему отвѣчаетъ:

— Ты своего вѣрнаго слугу прогналъ, какъ собаку. Любилъ меня такъ, какъ палка любитъ спину, а теперь такъ любишь, какъ спина палку . . . Я жъ тебя просилъ и молилъ, — ты не послушался . . .

Вотъ сталъ панъ тутъ и Оксану просить:

— Заступись ты, Оксана, у тебя сердце доброе.

Выбѣжала Оксана, всплеснула руками:

— Я же тебя, пане, просила, въ ногахъ валялась: пожалѣй мою дѣвичью красу, не позорь меня, мужнюю жену. Ты же не пожалѣлъ, а теперь самъ просишь . . . Охъ, лишенько мнѣ, что же я сдѣлаю?

— Пустите, — кричитъ опять панъ, — за меня вы всѣ погинете въ Сибири . . .

— Не печалься за насъ, пане, — говоритъ Опанасъ: — Романъ будетъ на болотѣ раньше твоихъ доѣзжачихъ, а я, по твоей милости, одинъ на свѣтѣ, мнѣ о своей головѣ думать не долго. Вскину рушницу за плечи и пойду себѣ въ лѣсъ . . . Наберу проворныхъ хлопцевъ и будемъ гулять . . . Изъ лѣсу станемъ выходить ночью на дорогу, а когда въ село забредемъ, то прямо въ панскія хоромы. Эй, подымай, Романсю, пана, вынесемъ его милость на дождикъ.

Забился тутъ панъ, закричалъ, а Романъ только ворчитъ про себя, какъ медвѣдь, а козакъ насмѣхается. Вотъ и вышли.

А я испугался, кинулся въ хату и прямо къ Оксанѣ. Сидитъ моя Оксана на лавкѣ — бѣлая, какъ стѣна . . .

А по лѣсу уже загудѣла настоящая буря: кричитъ боръ разными голосами, да вѣтеръ воетъ, а когда и громъ полыхнётъ. Сидимъ мы съ Оксаной на лежанкѣ, и вдругъ слышу я, кто-то въ лѣсу застоналъ. Охъ, да такъ жалобно, что я до сихъ поръ, какъ вспомню, то на сердцѣ тяжело станетъ, а вѣдь уже тому много лѣтъ . . .

— Оксано, — говорю, — голубонько, а кто жъ это тамъ въ лѣсу стонетъ?

А она схватила меня на руки и качаетъ:

— Спи, — говоритъ, — хлопчику, ничего! Это такъ . . . лѣсъ шумитъ . . .

А лѣсъ и вправду шумѣлъ, охъ, и шумѣлъ же! Просидѣли мы еще сколько-то времени, слышу я: ударило по лѣсу будто изъ рушницы.

— Оксано, — говорю, — голубонько, а кто жъ это изъ рушницы стрѣляетъ?

А она, небóга, все меня качаетъ и все говоритъ:

— Молчи, молчи, хлопчику, то громъ Божій ударилъ въ лѣсу.

А сама все плачетъ и меня крѣпко къ груди прижимаетъ, баюкаетъ: «Лѣсъ шумитъ, лѣсъ шумитъ, хлопчику, лѣсъ шумитъ» . . .

Вотъ я лежалъ у нея на рукахъ и заснулъ . . .

А на утро, хлопче, прокинулся, гляжу: солнце свѣтитъ, Оксана одна въ хатѣ одѣтая спитъ. Вспомнилъ я вчерашнее и думаю: это мнѣ такое приснилось.

А оно не приснилось, ой, не приснилось, а было направду. Выбѣжалъ я изъ хаты, побѣжалъ въ лѣсъ, а въ лѣсу пташки щебечутъ, и роса на листьяхъ блеститъ. Вотъ добѣжалъ до кустовъ, а тамъ и панъ, и доѣзжачій лежатъ себѣ рядомъ. Панъ спокойный и блѣдный, а доѣзжачій сѣдой, какъ голубь, и строгій какъ разъ будто живой. А на груди и у пана, и у доѣзжачаго кровь.

. . . .

— Ну, а что же случилось съ другими? — спросилъ я, видя, что дѣдъ опустилъ голову и замолкъ.

— Эге! Вотъ же все такъ и сдѣлалось, какъ сказалъ козакъ Опанасъ. И самъ онъ долго въ лѣсу жилъ, ходилъ съ хлопцами по большимъ дорогамъ, да по панскимъ усадьбамъ. Такая козаку судьба на роду была написана: отцы гайдамачили, и ему то же на долю выпало. Не разъ онъ, хлопче, приходилъ къ намъ въ эту самую хату, а чаще всего, когда Романа не бывало дома. Придетъ, бывало, посидитъ и пѣсню споетъ, и на бандурѣ сыграетъ. А когда и съ другими товарищами заходилъ, — всегда его Оксана и Романъ принимали. Эхъ, правду тебѣ, хлопче, сказать, таки и не безъ грѣха тутъ было дѣло. Вотъ придутъ скоро изъ лѣсу

Максимъ и Захаръ, посмотри ты на нихъ обоихъ: я ничего имъ не говорю, а только кто зналъ Романа и Опанаса, тому сразу видно, который на котораго похожъ, хотя они уже тѣмъ людямъ не сыны, а внуки . . . Вотъ же какія дѣла, хлопче, бывали на моей памяти въ этомъ лѣсу . . .

А шумитъ же лѣсъ крѣпко, — будетъ буря!...

III.

Послѣднія слова разсказа старикъ говорилъ какъ-то устало. Очевидно, его возбужденіе прошло и теперь сказывалось утомленіемъ: языкъ его заплетался, голова тряслась, глаза слезились.

Вечеръ спустился уже на землю, въ лѣсу потемнѣло, боръ волновался вокругъ сторожки, какъ расходившееся море; темныя вершины колыхались, какъ гребни волнъ въ грозную непогоду.

Веселый лай собакъ возвѣстилъ приходъ хозяевъ. Оба лѣсника торопливо подошли къ избушкѣ, а вслѣдъ за ними запыхавшаяся Мотря пригнала затерявшуюся было корову. Наше общество было въ сборѣ.

Черезъ нѣсколько минутъ мы сидѣли въ хатѣ; въ печи весело трещалъ огонь; Мотря собирала «вечѐрять».

Хотя я не разъ видѣлъ прежде Захара и Максима, но теперь я взглянулъ на нихъ съ особеннымъ интересомъ. Лицо Захара было темно, брови срослись надъ крутымъ низкимъ лбомъ, глаза глядѣли угрю-

мо, хотя въ лицѣ можно было различить природное добродушіе, присущее силѣ. Максимъ глядѣлъ открыто, какъ будто ласкающими сѣрыми глазами; по временамъ онъ встряхивалъ своими курчавыми волосами, его смѣхъ звучалъ какъ-то особенно заразительно.

— А чи не разсказывалъ вамъ старикъ, — спросилъ Максимъ, — старую бывальщину про нашего дѣда?

— Да, разсказывалъ, — отвѣчалъ я.

— Ну, онъ всегда вотъ такъ! Лѣсъ зашумитъ покрѣпче, ему старое и вспоминается. Теперь всю ночь никакъ не заснетъ.

— Совсѣмъ мала дитына, — добавила Мотря, наливая старику щей.

Старикъ какъ будто не понималъ, что рѣчь идетъ именно о немъ. Онъ совсѣмъ опустился, по временамъ безсмысленно улыбался, кивая головой; только когда снаружи налеталъ на избушку порывъ бушевавшаго по лѣсу вѣтра, онъ начиналъ тревожиться и наставлялъ ухо, прислушиваясь къ чему-то съ испуганнымъ видомъ.

Вскорѣ въ лѣсной избушкѣ все смолкло. Тускло свѣтилъ угасающій *каганецъ*[1]), да сверчокъ звонилъ свою однообразно-крикливую пѣсню . . . А въ лѣсу, казалось, шелъ говоръ тысячи могучихъ, хотя и глухихъ голосовъ, о чемъ-то грозно пере-

---

[1]) *Каганецъ* — черепокъ, въ который наливаютъ сало и кладутъ свѣтильню.

кликавшихся во мракѣ. Казалось, какая-то грозная сила ведетъ тамъ, въ темнотѣ, шумное совѣщаніе, собираясь со всѣхъ сторонъ ударить на жалкую, затерянную въ лѣсу хибарку. По временамъ смутный рокотъ усиливался, росъ, приливалъ, и тогда дверь вздрагивала, точно кто-то, сердито шипя, напираетъ на нее снаружи, а въ трубѣ ночная вьюга съ жалобною угрозой выводила за сердце хватающую ноту. Потомъ на время порывы бури смолкали, роковая тишина томила робѣющее сердце, пока опять подымался гулъ, какъ будто старыя сосны сговаривались сняться вдругъ съ своихъ мѣстъ и улетѣть въ невѣдомое пространство вмѣстѣ съ размахами ночного урагана.

Я забылся на нѣсколько минутъ смутною дремотой, но, кажется, не надолго. Буря выла въ лѣсу на разные голоса и тоны. Каганѐцъ вспыхивалъ по временамъ, освѣщая избушку. Старикъ сидѣлъ на своей лавкѣ и шарилъ вокругъ себя рукой, какъ будто надѣясь найти кого-то по близости. Выраженіе испуга и почти дѣтской безпомощности виднѣлось на лицѣ бѣднаго дѣда.

— Оксано, голубонько, — разслышалъ я его жалобный ропотъ, — а кто жъ это тамъ въ лѣсу стонетъ?

Онъ тревожно пошарилъ рукой и прислушался.

— Эге! — говорилъ онъ опять, — никто не стонетъ. То буря въ лѣсу шумитъ . . . Больше ничего, лѣсъ шумитъ, шумитъ . . .

Прошло еще нѣсколько минутъ. Въ маленькія окна то и дѣло заглядывали синеватые огни молніи, высокія деревья вспыхивали за окномъ призрачными очертаніями и опять исчезали во тьмѣ среди сердитаго ворчанія бури. Но вотъ рѣзкій свѣтъ на мгновеніе затмилъ блѣдныя вспышки каганца̀, и по лѣсу раскатился отрывистый недалекій ударъ.

Старикъ опять тревожно заметался на лавкѣ.

— Оксано, голубонько, а кто жъ это въ лѣсу стрѣляетъ?

— Спи, старикъ, спи, — послышался съ печки спокойный голосъ Мотри. — Вотъ всегда такъ: въ бурю по ночамъ все Оксану зоветъ. И забылъ, что Оксана ужъ давно на томъ свѣтѣ. Охъ-хо!

Мотря зѣвнула, прошептала молитву, и вскорѣ опять въ избушкѣ настала тишина, прерываемая лишь шумомъ лѣса, да тревожнымъ бормотаніемъ дѣда:

— Лѣсъ шумитъ, лѣсъ шумитъ . . . Оксано, голубонько . . .

Вскорѣ ударилъ тяжелый ливень, покрывая шумомъ дождевыхъ потоковъ и порыванія вѣтра, и стоны сосноваго бора . . .

1885 г.

Огоньки.

Какъ-то давно, темнымъ осеннимъ вечеромъ, случилось мнѣ плыть по угрюмой сибирской рѣкѣ. Вдругъ на поворотѣ рѣки, впереди, подъ темными горами мелькнулъ огонекъ.

Мелькнулъ ярко, сильно, совсѣмъ близко . . .

— Ну, слава Богу! — сказалъ я съ радостью, — близко ночлегъ!

Гребецъ повернулся, посмотрѣлъ черезъ плечо на огонь и опять апатично налегъ на весла.

— Далече!

Я не повѣрилъ: огонекъ такъ и стоялъ, выступая впередъ изъ неопредѣленной тьмы. Но гребецъ былъ правъ: оказалось, дѣйствительно, далеко.

Свойство этихъ ночныхъ огней — приближаться, побѣждая тьму, и сверкать, и обѣщать, и манить своею близостью. Кажется, вотъ-вотъ еще два-три удара весломъ, — и путь конченъ . . . А между тѣмъ — далеко! . . .

И долго еще мы плыли по темной, какъ чернила, рѣкѣ. Ущелья и скалы выплывали, надвигались и уплывали, оставаясь назади и теряясь, казалось, въ безконечной дали, а огонекъ все стоялъ впереди,

переливаясь и маня, — все такъ же близко, и все такъ же далеко . . .

Мнѣ часто вспоминается теперь и эта темная рѣка, затѣненная скалистыми горами, и этотъ живой огонекъ. Много огней и раньше и послѣ манили не одного меня своею близостью. Но жизнь течетъ все въ тѣхъ же угрюмыхъ берегахъ, а огни еще далеко. И опять приходится налегать на весла . . .

Но все-таки . . . все-таки впереди — огни! . . .

1900 г.